

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВ
Все цвета жизни

рассказы

Санкт-Петербург
Свое издательство
2013

УДК 882
ББК 84 Р 7
Г 83

Григорьев Д. Все цвета жизни. *Рассказы.* — Санкт-Петербург:
Свое издательство, 2013. — 230 с.

ISBN 978-5-4386-5144-4

© Д. Григорьев, текст, 2013
© Свое издательство, оформление, 2013

ИЗ ЦИКЛА «ПЕСОЧНИЦА»

БРАТИК

Бабушка Тася искала грибы медленно, останавливаясь перед каждым деревом, беззвучно шевеля губами, словно разговаривая с ним, — за это время Гриша успевал обежать вокруг по тропинкам, по мягкому пружинистому мху два или три раза и собрать свой собственный «улов». Правда, потом бабушка выкидывала часть Гришиных грибов: он уже научился отличать поганки и мухоморы от съедобных, но те грибы, которые баба Тася называла ложными, часто путал с настоящими. Иногда она подзывала его, чтобы он помог сорвать гриб, потому что наклоняться ей тяжело: ведь бабе Тасе уже за восемьдесят и она даже не бабушка, а двоюродная прабабушка, точнее, сестра Гришиной прабабушки, умершей несколько лет назад.

Постепенно Гришина корзинка наполнилась, и верхние грибы во время его прыжков норовили выпасть на землю. К тому же в лесу стало сумрачно. Они вышли за грибами вечером, днем было некогда: сначала приезжала скорая помощь, чтобы увезти маму в родильный дом рожать братика, затем пошел дождь, и лишь после обеда снова выглянуло солнце. А теперь и оно уходило, оставляя красные закатные отблески на вершинах деревьев.

Бабушка переложила часть Гришиных грибов в свою большую корзину и сказала ему поторапливаться, то есть идти следом за ней, по тропинке. Когда окончательно стемнело, они выбрались на широкую просеку, справа от которой находились пестрые в лунном свете вырубки.

Бабушка шла впереди, она была большая и задевала ветки головой, кажущейся прямоугольной из-за платка, повязанного не по-бабушкински, а по-пиратски — с узлом сзади. У Гриши на голове была кепка с козырьком, и он даже несколько раз обернулся посмотреть, как выглядит тень от его головы — бульдожья морда без ушей, рассыпанная по траве.

Тропа стала шире, они пошли рядом, и баба Тася начала рассказывать про луну. Гриша ее слушал и одновременно смотрел под ноги, выискивая светляков, которые светят своими зелеными огоньками, будто маленькие такси. Но то ли в этом лесу светляки не водились, то ли луна была слишком яркой, ни одного зеленого огонька не попадалось.

Бабушка рассказывала, что темные пятна на луне — это Каин и Авель. Каин убил брата и держит его на поднятых вилах словно сноп сена. За это убийство он и сослан на луну. Гриша уже знал, что пятна — всего лишь большие темные ямы, а никакие не братья, но с бабушкой не спорил.

Каин и Авель неподвижно стояли-лежали-висели на луне, а Гриша с бабой Тасей все шли и шли. Бабушка дважды останавливалась и осматривалась по сторонам, как индеец, наконец, пожевав губами свои неслышные пустые слова, сказала: «Мы, похоже, заблудились. Не бойся, куда-нибудь выйдем». Гриша не боялся — он просто очень устал, и ноги передвигал автоматически, словно перекачивал, они ему казались бидонами, полными воды. Хорошо еще бабушка взяла Гришину корзинку.

Тропа повернула через гору в сосновый лес, луна с Каином и Авелем куда-то исчезла, зато вдалеке, за решеткой прямых стволов, стал виден желтый электрический свет.

Вскоре они оказались возле большого двухэтажного дома из белого кирпича, фонарь во дворе освещал вход и стоящую неподалеку машину скорой помощи. Гриша подумал, что это та самая машина, на которой маму увезли в родильный дом, но бабушка прочитала надпись на стене у двери и сказала, что это просто похожая машина и они вышли не к родильному дому, а к совсем другой больнице. Бабушка отдала Грише корзинку, потянула за дверную ручку, и дверь громко, по-вороньи, каркнула. Гриша

вдруг почувствовал какую-то неправду во всем происходящем: словно в больнице их ждало нечто неприятное и страшное, он хотел остановить бабушку, но та уже открыла вторую дверь.

Они прошли в просторный холл, похожий на пещеру из-за своей темноты: светилась лишь лампа в углу, на столе. За столом сидел дядька в белом халате и что-то писал, но когда они вошли, оторвался от писанины и удивленно посмотрел на них. «Еще бы не удивился, — подумал Гриша, — кто же здоровый идет в больницу с ее больными уколами и операциями. Лучше уж бродить по лесу с тяжелыми невидимыми бидонами на ногах, чем попасть в это логовище». Бабушка поставила корзинку на пол и подошла ближе к дядьке. У дядьки было большое лицо с темными, глубоко посаженными глазами, седыми бровями, похожими на зубные щетки, и тяжелой, выдвинутой вперед нижней челюстью — совсем не доктор Айболит, а настоящий Бармалей, только без бороды. Пока они о чем-то разговаривали, Гриша продолжал стоять у двери.

— Мы здесь переночуем, — сказала бабушка Грише, — доктор разрешил нам переночевать, а утром пойдем домой.

Гриша заплакал, потянул бабушку за рукав в сторону двери, тряхнул своей корзинкой, и грибы покатались по полу.

— Гриша! — воскликнула она. — Ты чего? Теперь давай собирай.

Гриша продолжал плакать, а доктор, встав из-за стола, принялся подбирать грибы и бросать обратно в корзину.

— И где же ты нашел такие красивые белые? Неужели ты это все сам собрал? — спрашивал дядька. Гриша чувствовал, что доктор просто притворяется добрым, но на самом деле все эти вопросы его совершенно не интересуют.

— Вот еще один... И как ты разглядел такой маленький грибок? — Лицо доктора оказалось прямо перед Гришей, тот отрицательно замотал головой и уткнулся носом в бабушкину юбку. — Ну чего же ты не отвечаешь? А знаешь, у нас здесь черепаха есть. Хочешь покажу?

Пока доктор собирал грибы, Гриша не шевелился. Он мог стоять так целую вечность, бабушка хоть ничего и не понимала, но

защищала от страшного дядьки. Доктор тем временем взяв Гришину корзинку, сказал, что им пора располагаться.

И бабушка поволокла всхлипывающего Гришу по узкому коридору с желтыми стенами, мимо одинаковых белых дверей, вслед за доктором. Наконец они оказались в маленькой комнатке, где стояли две кровати и две тумбочки, а над головой горели длинные белые лампы. Доктор в комнату не вошел. Стоило бабе Тасе разжать руку, как Гриша высвободился, залез под кровать и свернулся калачиком на полу. Бабушка ничего не понимала, и от этого ему было страшно и обидно.

— Ну чего ты, Гришенька, пожалуйста, вылезай, пол холодный. Сейчас доктор чай с печеньем принесет.

Мальчик видел бабушкины ноги в резиновых сапогах и кроватиные ножки на колесиках, пол был неровным, колесики оставили на нем волны и колеи. Гриша дотронулся пальцем до колеса, и в этот момент к бабушкиным и кроватиным ногам добавились еще две — вошел доктор.

— Ну что, успокоили мальчика?

— Куда там. Вон, под кровать залез, — сказала бабушка.

— А я ему черепаху принес. — Дядька положил на пол перед Гришей маленькую черепаху. — А вот ее дом.

Он отошел от кровати в угол и установил там большую картонную коробку, оклеенную бумагой, внизу у коробки была прорезь в виде двери, а на бумаге были нарисованы окна и колонны. Черепаху втянула под панцирь лапы и мордочку и смотрела на Гришу маленькими круглыми глазками.

— Спасибо, — сказала бабушка.

— Будешь как черепаху под кроватью сидеть? — спросил доктор, обращаясь к Грише, — а бабушка твоя сейчас чай с печеньем пить будет.

Гриша предпочитал быть черепахой. Он перевернулся на живот, поджал колени и руки как лапки с коготками, теперь днище кровати, словно настоящий непробиваемый панцирь, прикрывало его спину. Доктор тихо разговаривал с бабушкой о Грише, говорил, что тот очень возбудимый, и его следует кому-то там показать. «Все вранье, — отвечал про себя черепаху Гриша, —

я вовсе не будимый. Мама говорит, что легче слона разбудить, чем меня...» И он совсем не хотел, чтобы его кому-то показывали. Доктор поговорил еще немного, пожелал спокойной ночи бабушке, черепахе и ее братику под кроватью, бабушка еще раз сказала ему спасибо и закрыла дверь.

Черепаха, когда доктор ушел, высунула мордочку, встала на лапы и заковыляла мимо Гриши к тумбочке.

— Гришенька, смотри какая. — Бабушка развернула ее и направила к мальчику, — она не кусается.

Гриша погладил черепаху по панцирю. На этот раз черепаха не спряталась под панцирь, лишь остановилась, затем внимательно посмотрела на Гришу и направилась в сторону своего домика.

Тогда Гриша, снова став человеком, вылез из-под кровати вслед за черепахой.

— Ну вот, выбрался наконец, — обрадовалась бабушка, — чаю с печеньем хочешь.

— Не хочу... — Гриша снова чуть не заплакал.

— А чего ты хочешь? — спросила бабушка.

— Домой. — Слезы сами покатались из Гришиных глаз.

Бабушка подняла Гришу, усадила его рядом с собой на кровать.

— Гришутка, что с тобой случилось? — спросила бабушка. — Ты не заболел? Обещаю тебе, завтра, когда станет светло, сразу пойдем домой. А сейчас надо поспать.

Когда он перестал плакать, бабушка дала ему уже остывшей воды, сводила до туалета в коридоре, а затем уложила на кровать с холодными жесткими простынями и кусачим одеялом. Гриша не помнил, как заснул, но когда открыл глаза, было темно, только из окна падал желтый свет уличного фонаря. Рядом на соседней кровати лежала бабушка. Черепаха не спала и скребла лапами в коробке в углу. «Чего же ты не спишь?» — прошептал Гриша и вдруг понял, почему страшный доктор назвал его братиком черепахи. Маму на самом деле привезли именно в эту больницу, и она родила братика, но доктор превратил его в черепаху, а маме сказал, что она никого не родила. И надо срочно уйти отсюда и унести братика, потому что и Гришу доктор превратит в черепа-

ху. Гриша сполз на пол. Он сам надел штаны и резиновые сапоги. Куртку достать не удалось — баба Тася повесила ее слишком высоко. Гриша подошел к бабушке.

Она спала открыв рот, и из ее рта вместе с дыханием вылетали невидимые мотыльки. Они шелестели бархатистыми крыльями, но не находили лампы, вокруг которой кружить, и поэтому тыкались куда попало — в стены, в потолок, в Гришино лицо. Гриша взял черепаху-братика, подошел к двери и тихонько приоткрыл ее. Несколько мотыльков просочились в щель и последовали за Гришей по коридору. Он добрался до самого конца, в холл, где они встретили страшного доктора. Там по-прежнему горела лампа, но за столом никто уже не сидел. Зато рядом, на диване, положив голову на свернутый ватник, спала тетенька, похожая на старую облезлую кошку. У нее были седые волосы, собранные в клубок, и этот клубок, будто котенок-сынчик прижимался к ее голове. Гриша даже захотел его погладить, но побоялся разбудить тетеньку. Тетенька во сне улыбалась. Ее улыбка сначала была доброй, но потом, когда Гриша пригляделся, стала злой и страшной.

Тетеньку можно было бы застрелить пальцем, сложив ладонь в виде пистолета, бабушка говорила, что если указать на человека пальцем и злиться при этом, то человек заболевает или даже умрет. Тетенька ничего плохого Грише не сделала, и он решил приберечь палец для более важного случая. Мальчик подобрался к дверям — первая была открыта настежь, а вторая заперта на крюк.

— Подожди, я сейчас, — шепнул он братику и положил его на пол.

Гриша снова подумал о бабушке, и сказал себе, что нечего беспокоиться, — доктору нужен мальчик, а она, старая и больная бабуля, уже никому не нужна, ведь она сама так много раз о себе говорила, и страшный доктор наверняка ее отпустит, не причинив вреда. Тем более что превратить взрослую бабушку в черепаху намного труднее.

Он прошептал мотылькам, чтобы возвращались в комнату и успокоили бабушку. Затем двумя руками сдвинул крюк, осторожно опустил его, подобрал черепаху и открыл дверь. На этот раз, когда Гриша надавил на нее, она не каркнула, только противно и недовольно скрипнула.

Лес даже ночью не спал: он шелестел, дышал влагой, холодом, и был такой же страшный, как больница. Гриша, прижимая к груди черепаху, побежал прочь. Он бежал быстро, чтобы не замерзнуть и не бояться, — ведь когда бежишь, бояться некогда.

Он бежал долго, до самого рассвета, тропа давно перевалила горку и теперь вела вниз. Хотя наверху светлело, лес, который впитывал в себя мальчика, становился все более мрачным — огромные ели заслоняли своими лапами весь свет. Наконец стало так светло, что даже в этом темном лесу Гриша мог различить под ногами погрызенные белками шишки.

Ельник закончился полянкой, и мальчик остановился передохнуть. Страх исчез, видимо отстал по дороге, и у Гриши было время, чтобы покормить братика. Однако тот еще спал и есть траву не захотел. Неожиданно, с порывом легкого ветра, до мальчика донесся запах дыма. Где-то рядом жгли костер. Уже тихо, как разведчик, он прокрался по тропе через какие-то невысокие, цепляющие влажными листьями кусты и оказался возле широкой медленной реки. С Гришиной стороны берег был пологим, зато через реку над водой нависал песчаный слоистый обрыв, местами поросший кривыми соснами и травой. Вода была темной, словно чай. Гриша попил этого чая и предложил попить братику, тот на мгновение высунул голову из-под панциря и отрицательно помотал ей.

Мальчик пустил черепаху ползать по бережку, а сам присел на корточки и стал думать, как перебраться через эту реку. Вдруг над головой он услышал густой и громкий, будто уханье филина, голос: — А ты что тут делаешь?

Гриша не успел испугаться. Он развернулся и посмотрел вверх. Над ним стоял здоровенный дядька в черных высоких резиновых сапогах и зеленом, как у десантников, костюме. Еще у него были очки в золотистой оправе, рыжие усы и кепка. А в руках дядька держал короткую удочку с катушкой и блестящей металлической рыбкой на конце. Гриша знал, что такая удочка называется спиннинг и на железную игрушечную рыбку ловятся настоящие большие щуки.

— И где же твои родители? — спросил дядька так, словно обращался не к мальчику, а к самому себе.

Мама говорила, что нельзя разговаривать с незнакомыми, и Гриша ничего не ответил.

— А это что такое? — дядька склонился над братиком, — ой, да это же черепаха! Все ясно, ты из больницы.

Гриша молчал.

— Ты, наверно, язык проглотил, — не унимался рыбак, — тогда надо в больницу вернуться, доктор язык вытащит.

— Не надо. — Гриша отрицательно замотал головой и шмыгнул носом.

— Ты что это, плакать собрался? — Дядька достал из кармана белый платок и протянул его мальчику. — На-ка, высморкайся и расскажи мне, кто тебя обидел. Мы, рыбаки, в обиду детей не дадим.

— Братик... — ответил Гриша. Почему-то слова перестали складываться друг с другом. — Черепаха. Доктор.

— Так-так. Ничего не понимаю. Да ты замерз! — Рыбак стянул куртку и набросил ее на Гришины плечи так, что полы, словно мантия, легли на песок. — Пойдем-ка к костру. А там ты расскажешь мне все не торопясь, по порядку.

Куртка была теплой и большой.

— Во, какой плащ получился, — сказал рыбак, — как у настоящего Бэтмена. Теперь ты ничего бояться не должен.

Они прошли совсем немного по тропинке вдоль реки и очутились около костра. Рыбак усадил Гришу на поваленный ствол, а сам сел рядом.

— Ну давай сначала познакомимся. Меня зовут дядя Толя. — Рыбак протянул Грише руку, будто взрослый взрослому. — А тебя?

— Гриша...

Гриша рассказал ему про то, как скорая помощь забрала маму, как они пошли с бабушкой за грибами и вышли к страшной больнице, как доктор долго разговаривал с бабушкой и как Гриша догадался, что братика превратили в черепаху.

— Ну это разве беда? — Рыбак улыбнулся. — Это мы в два счета обратно разпревратим. Только для этого надо черепаху назад

вернуть, в больницу, в распревращательную комнату. И вернуть ее должен ты сам, иначе ничего не получится. Пойдем. Я тебя в обиду не дам.

Гриша почему-то поверил. Они поели рыбацких бутербродов с сыром, затем затоптали остатки костра, дядя Толя положил черепаху в карман, взял мальчика за руку и повел назад по той самой лесной дороге, по которой Гриша с братиком бежал от злого доктора и от собственного страха. Солнце уже взошло, и с горы сквозь деревья было видно сверкающую серебром крышу больницы.

Теперь все казалось мирным и неопасным, даже дверь, что ночью скрипела и каркала, на этот раз промолчала, словно испугалась Гришиного спутника.

Когда мальчик и рыбак вошли в холл, бабушка с котенком на голове сразу проснулась и стала извиняться, что задремала, а Гриша подумал: «Вот взрослые — извиняются, что спят, а детей в садике, наоборот, насильно заставляют».

— Викторыч у себя? — спросил рыбак.

Викторычем оказался страшный доктор. Он сидел в комнате, рядом с той, откуда убежал Гриша. При виде Гриши и дяди Толи доктор встал, но рыбак смело вышел вперед, заслонив собой мальчика.

— Чего это ты, любезный Владимир Викторович, мальчиков в черепах превращаешь? — строго спросил рыбак.

— Я?

— Чего это ты Гришиного братика в черепахе превратил. — Рыбак вытащил из кармана черепаху, поднял ее, и она, словно в подтверждение сказанному, заработала всеми лапами.

— Ну, я только тех, кто плачет и плохо себя ведет.

— Тогда возьми и сейчас же распревращением займись. Чтобы через неделю снова мальчиком стала. Ты считать-то умеешь? — обратился дядя Толя уже к Грише, — знаешь, что такое неделя?

Гриша начал, загибая пальцы, как это делают взрослые, перечислять дни недели, но тут за спиной у него появилась бабушка.

Она, оказываясь, проснулась от разговоров. Гриша попросил отвести его к маме, но бабушка объяснила, что надо идти домой, а мама совсем в другом месте и что тоже скоро приедет домой с

братиком. «Пусть себе так считает», — решил Гриша и неожиданно понял, что ни о черепахе-братике, ни о своей ночной прогулке рассказывать ей не будет, и вообще рассказывать не будет — не потому, что никто не поверит и не поймет, а потому, что это его собственная тайна и рассказанная она станет никакой — так зеленые водоросли, красивые под водой, становятся склизкими и неинтересными, когда их вытащишь наружу.

АНДРЮША

Утром Петя не пошел в детский сад, потому что приехала тетя Жанна и он остался с ней дома. И соседка Светка, как и Петя, возраста раскрытой ладони, тоже осталась дома со своей бабушкой. Днем тетя Жанна повела их гулять во двор. Пете во дворе нравилось: там была песочница, очень похожая на детсадовскую, но в отличие от последней, полная желтого песка, и если взять ведерко и формочки, то можно понаделать сколько угодно нормальных куличиков.

Тетя Жанна уселась на качающуюся скамейку и раскрыла книжку, а Петя и Света занялись песком. Света лепила пирожки, Петя копал яму. Иногда она предлагала скушать по пирожку, они обедали и снова возвращались каждый к своей работе. Наконец Петя прокопал песочную кучу насквозь, до земли, дальше копать было трудно и неинтересно.

Светка тем временем перешла от пирожков к более серьезным блюдам. Она сорвала несколько одуванчиков, растолкла стебли, из которых выдавилось белое молоко, добавила туда немного глинистой земли, немного воды из лужи, и теперь всю эту комковатую массу размешивала в формочке сухой веткой.

Петя стоял рядом и смотрел.

— Угадай, что я делаю? — спросила Света.

— Блевотину... — серьезно ответил он. — Меня однажды рвало таким.

— Дурак ты. Блевотина плохое слово. Я делаю кашку. Будешь есть?

— Сама и ешь. Тьфу-тьфу-тьфу! — Петя будто бы поплевал в Светкино варево.

— Ты чего плюешь?

— А ты чего дураком обзываешься.

Смесь тем временем загустела и стала похожа на глину для лепки.

— Смотри... — Света уже забыла о каше и теперь катала ее в ладошках. — Колбаски. Можно разное слепить, например, человечка.

Они приготовили еще смеси. Петя скатал круглые туловище и голову, а Света соединила их и прилепила руки-колбаски и ноги-колбаски. Человечка положили на край песочницы, рядом с пирожками.

Теперь Света могла вдоволь кормить его, а Петя начал строить ему дом.

Тетя Жанна прервала их занятия. Она закрыла книгу, убрала ее в сумку, подошла к песочнице и теперь нависала над ними, как большое дерево.

— Кто же это слепил? — спросила она.

— Мы вместе, — ответила Света. — Петька — туловище и голову, а я — все остальное.

— И как вы его назвали?

— Катя, — сказала Света.

— Нет, это Андрюша, — возразил Петя, — видишь, у него штанишки, значит, это Андрюша. У тебя уже есть кукла Катя.

Петя подразумевал куклу, которую Светка однажды приносила в садик.

— Ну, пусть Андрюша, — согласилась Света.

— Мы возьмем его с собой? — спросил Петя.

Тетя Жанна не разрешила брать Андрюшу домой, но пообещала, что если будет такая же хорошая погода, они после обеда снова вернуться к песочнице, а человечек за это время никуда не денется.

Света обедала у себя дома, с бабушкой, а Петя — у себя. После обеда Жанна долго мыла посуду. Наконец Жанна закончила, они забрали Свету и вышли во двор. Дети наперегонки побежали к

песочнице. Но человечка там не было! В песке ковырялись двое: Сашка из дома напротив и еще какой-то незнакомый мальчик. Они нагружали большой красный самосвал и отвозили к яме, которую выкопал Петя. Там Сашка поднимал кузов и высыпал песок.

— Вы нашего человечка не трогали? — спросил Петя.

— Никаких, бжжж, человечков, бжжж бжжж, не трогали, — ответил Сашка, изображая самосвал.

Петька готов был заплакать, так ему было жалко своих трудов... Он пнул ногой пустое Сашкино ведро.

— Андрюша, пошли, — вдруг позвала тетенька, которая сидела рядом с Сашкиной мамой и тетей Жанной на качающейся скамейке. Незнакомый мальчик продолжал грузить песок в Сашкину машину. Тетенька встала и подошла к песочнице.

— Андрей, пора домой!

— Сейчас, мама...

Мальчик обхлопал ладошками песчаную кучу на кузове грузовика и сказал Сашке:

— Машина загружена, можете ехать.

— Руки отряхни, — сказала тетенька, — изварзопался, как свинтус.

Андрюша обтер руки о штанины, взял маму за руку, и она потащила его в сторону Сашкиной парадной. Света, полуоткрыв рот, долго смотрела на них...

— Слушай, — тихо сказала она, повернувшись к Пете, — а вдруг этот наш человечек?

— Кто?

— Ну этот... — Она снова посмотрела в сторону Андрюши. — Пока мы обедали, он ожил и вырос. Видишь, все пирожки съел.

— Не говори глупостей, — по-взрослому ответил Петька, — если бы это был наш Андрюша, у него не было бы мамы.

— Ну, знаешь, тетенька могла пройти мимо, увидеть нашего Андрюшу и сказать, — Света продолжила «на два голоса»: — Ах какой красивый мальчик, ах, какой милый, а где твоя мама? Не знаю. Ну тогда я твоя мама. Видишь, у него курточка и штаны коричневые...

— Ну, не знаю...

— Знаешь, когда папа на даче цементировал фундамент, — добавила Светка, — у него тоже сначала цемент был таким глиняным, как Андрюша, а потом стал застылым и гладким — как камень.

Последний довод почему-то показался Пете убедительным.

На следующий день Андрюшу привели в садик.

— Ребята, познакомьтесь, это Андрюша.

— А мы его знаем! — закричала Света. — Мы с Петькой его вчера сделали.

— Как сделали? — спросила воспитательница.

— Вы что, разве не знаете, как дети делаются? — И Светка рассказала ей все по порядку, про землю, и про сок одуванчиков, и про мелко порубленную траву, не стала говорить лишь про то, как Петя обзывал кашку для приготовления человека блевотинной и плевался в нее, — ведь Андрюша может обидеться, услышав такое.

ПОЖИВЕМ — УВИДИМ

(рассказ школьника)

Сначала мы играли в футбол, а потом Юрка сказал, что на помойку в соседнем дворе выбросили телевизор с целым экраном, который можно раскокать и он взорвется, как бомба, тогда мы пошли в соседний двор, где была помойка, там взаправду валялся большой старый телевизор с зеркальным экраном, и все, кто стоял перед ним, были на этом экране, будто про нас показывали кино. Мы начали подбирать камни и куски асфальта и бросать в самих себя. Я подумал, что там много ценных деталей, всякие микросхемы, транзисторы, лампы, и не стоит его разбивать, а лучше отнести Виталику. Виталик — это мой старший брат, он может починить любой телевизор или сделать из этих деталей

что-нибудь другое, но все пришли специально, чтобы взорвать, и поэтому говорить я ничего не стал. Мы кидали, но камни отскакивали от экрана, а некоторые даже рассыпались на куски. Какой-то дядька увидел нас и начал прогонять, обзывая разными нехорошими словами, например, засранцами, это было самое приличное, что он сказал. Тогда мы перестали швырять камнями, а Юрка залез на забор и кинул в дядьку комком земли. Он попал прямо в грудь, на рубашку, часть земли отскочила, а часть рассыпалась под дядькин пиджак, и на рубашке осталось серое пятно. Как в пинболе! Дядька от неожиданности заткнулся, а Юрка спрыгнул с другой стороны забора и убежал.

Тогда он (дядька) вконец разозлился и погнался, но не за Юркой (еще бы, кому охота забор перелезть), а за нами, будто это мы бросали в него землей, и нам втроем пришлось удирать со всех ног через подворотню. Пока мы убегали, большая перемена уже закончилась, а следующий урок был русский, и это было плохо, потому что Глюкоза (так мы зовем училку), пожалуй, еще страшнее, чем этот дядька. Она ведь вдобавок завуч. В общем, мы решили переждать до следующей перемены.

Мы прибежали в наш штаб — что за гаражом — и встретили там Гарика, который в школу не ходит уже неделю, потому что болел, а теперь поправился, но его все равно не выписывают. Гарик сказал, что совсем недалеко есть такое место, где этих телевизоров целая куча. И не только телевизоров, там и трубок всяких, и ламп, и еще разного. В общем, свалка всяких ненужных прикольных вещей, так что если кому чего надо, то пошли. И мы пошли с ним по такой очень узкой тропинке — с одной стороны был забор, с другой река Смоленка, которая так называется, потому что на ней давным-давно смолили лодки, но теперь уже не смолят, однажды мы нашли такую древнюю лодку, но об этом в следующем рассказе. В реке Смоленке много всякого мусора, а также пиявок и рыб. Рыбы называются кобзда, или колюшка, — от ядовитых колючек на плавниках. Кобзда такая ядовитая и колючая, что даже кошки ее не едят.

Мы долго пробирались вдоль Смоленки и высоченного забора, наверху на нем были прицеплены круги из колючей прово-

локи. Дед мне рассказывал, что есть такие военные специальные рулоны, которые разматываются кругами, но любую колючую проволоку можно перелезть, набросив сверху ватник — они в детстве так делали. Тогда дед лазал на военные склады за всякими штуками, можно было взять сколько угодно патронов, а ватник так и оставался на колючей проволоке, пока его не расстреливал часовой, охраняющий склад; часовому надо было стрелять, а в детей кто будет стрелять, поэтому часовой стрелял по ватнику. Однажды деда все-таки поймали, а потом у его отца — моего прадеда — были большие проблемы на работе, потому что, как говорит дед, дети за отцов не отвечают, а отцы за детей еще как.

Мы шли и думали, что же за этим забором. Может, какая-нибудь секретная военная фабрика или еще что-то, и пока мы это обсуждали, пришли к воротам, которые открывались прямо в реку, не совсем, конечно, в реку, — была такая маленькая пристань, и на нее из-под ворот выходили рельсы.

«Зачем рельсы, которые обрываются прямо перед рекой?» — спросил Жека.

«Дурак, — ответил Гарик, хотя Жека совсем не дурак, просто Гарик всех дураками называет, — это чтобы катера на воду спускать!»

Мы тогда посмотрели в щель под ворота — там были какие-то дома из красного кирпича и машины, и то ли склады, то ли гаражи — ничего особенного, только странно, что никого, ни одного человека.

«Может, подползти под эти ворота», — предложил Жека, и мы попробовали, но ничего не получилось. Мой дед говорил, что если голова не пролезает, то и весь человек пролезть не может: самая неудобная часть тела для пролезания — это голова, а уж если голова пролезла, то и остальное пройдет.

Голова ни у меня, ни у Жеки, ни у Костика в щель не пролезала, а Гарик даже пробовать не стал — и правильно, потому что когда мы пошевелили ворота, примеряя головы, с той стороны прямо к щели подскочила собака и начала яростно лаять. А могла бы и укусить за голову!

Мы отправились дальше и пришли, наконец, на то место, о котором рассказывал Гарик. Это была треугольная большая поляна, с одной ее стороны продолжался забор, а с двух других были речки — Смоленка и Нева. И волны у берега были уже настоящие, вода шумела и пахла тиной. А по берегу ходили чайки, и все было этими чайками загажено.

Жека подошел к воде и сказал: «Клевое место!». Типа, хорошее место для рыбалки. Я тоже так подумал, здесь кроме кобзды наверняка водятся и окунь, и плотва. Правда, бабушка не разрешает приносить домой рыбу, пойманную в городе, — она считает, что во всякой городской рыбе водятся глисты-солитеры и есть ее нельзя. Я, когда был маленьким, лет в пять, однажды видел такого солитера — длинную белую ленту в животе вовсе не городской, а деревенской рыбы. Сосед принес леща, и, когда бабушка стала его потрошить, оттуда вместе с внутренностями, вместе с пузырьем, который она мне обещала, выпала длинная белая лента. Это был солитер. Рыбину пришлось выбросить, потому что солитер мог отложить в нее свои личинки, и бабушка целое лето никакую рыбу не готовила.

А на берегу взаправду лежало много разных штук. Чего только не было на этой поляне! Автомобильные покрышки, всякое железо, детали от компьютеров, старые магнитные ленты, канистры с каким-то черным маслом. Я взял одну бобину с лентой и целый выключатель из черной пластмассы с блестящей старинной ручкой. Валерка рассказывал, что в этих старинных выключателях есть золото и серебро. Мы с Жекой попробовали разбить его, но на твердой пластмассе не появилось ни вмятинки, ни трещины. А Гарик, еще раз обозвав нас дураками — когда-нибудь он за это получит, объяснил, что эта древняя пластмасса называется «эбонит» и разбить ее практически невозможно. Я тогда не поверил, что может быть пластмасса с таким названием, но так оно и есть. Поэтому я взял выключатель целиком и решил, что дома отверткой его раскручу. Золото мне бы не помешало.

Я упаковал сокровища в ранец и сказал ребятам, что пойду на урок. А они принялись тотчас обзывать заучкой, маменькиным сынком и вообще предателем. На самом деле это неправда. Про-

сто у меня была сделана домашка по математике, и если я бы не пошел, то тройбан в четверти мне был бы обеспечен. Предки бы устроили, как они говорят, репрессивные меры. Я все это пытался объяснить друзьям, но они не слушали — заучка, заучка и все! Они сами в школу возвращаться не собирались.

А чего обижаться, каждый может поступать, как он считает нужным. Поэтому я отправился на урок, а Жека, Костик и Гарик остались поджигать масло, которое было в канистрах на берегу.

Обратно я просто бежал и все равно чуть не опоздал на математику. Пришел прямо к звонку. Мой сосед по парте, Серега Рыжий (хотя на самом деле он совсем не рыжий, просто светло-волосый, у нас в классе есть еще один Серега, поэтому, чтобы их отличать, мы назвали одного Рыжий, а другого Черный), сказал, что Глюкоза на своем уроке устраивала переключку и нас всех отметила.

А я достал тетрадку и раскрыл на сделанной домашке, но ее проверять не стали. Наша класуха Ирина Васильевна вызвала Юльку Теняеву к доске и задала ей пример с иксом. Я тогда рассказал Сереге о месте, которое мы нашли, и дал посмотреть бобину с лентой и выключатель. Он крутил его в руках, потом громко щелкнул.

Ирина заметила и сказала: «Корольков, опять в игрушки играем!» Это она однажды в прошлом году поймала нас, когда мы гонки моделек устраивали. Теперь ни мне, ни Сереге Королькову эти машинки уже не интересны. Но Ирина, хотя я у нее и получил недавно пару, гораздо лучше Глюкозы. Она не злая, это по глазам видно. А пару, в общем, за дело поставила.

Серега положил выключатель на колени, а руки сложил на парте, чтобы она видела, что мы ни во что не играем. Мы немного посидели, а потом Корольков меня спросил шепотом: «Для чего тебе этот выключатель?»

А я ему ответил: «Чтобы выключать!». Чего объяснять, что внутри золото, если я его еще не видел. Тогда он меня спросил, что я им собираюсь выключать.

И я сказал, что этим выключателем можно выключить все, потому что он волшебный. На глупые вопросы — глупые ответы.

Сергея рассмеялся и попросил выключить Ирину.

Я взял у него выключатель, под партой навел на нее и прошептал: «Выключаю Ирину». Затем щелкнул.

А она в это время все еще мучила Юльку. Но когда я щелкнул, повернулась к столу и замолчала, разглядывая журнал. Теняева ее спрашивает, правильно ли, а она все в журнал уткнувшись сидит.

«Ты ее выключил, ха-ха-ха», — сказал Серега.

А я уже тогда немного испугался. И щелкнул обратно. Ирина сразу будто ожила.

«Хорошо, Юля, садись», — сказала она.

Я был уверен, что это совпадение, мало ли человек о чем может задуматься. Вот если бы действительно был такой выключатель, способный выключить все, что захочешь. Приходишь в магазин, щелкаешь — и бери все что надо. А пока я об этом думал, Серега начал вырывать его у меня и говорить: «Дай мне, дай мне, дай я попробую!»

Ирина, разумеется, подошла к нашей парте и отобрала выключатель.

«Что это?» — спросила она.

Я ответил, что выключатель. А Серега так, с издевкой: «Митя думает, что он волшебный, ха-ха-ха, выключает всех, кого захочешь».

Все рассмеялись. Ирина тоже. «Ну, раз так, — сказала она, — тогда я выключу болтунов на задней парте». Все снова рассмеялись.

«Внимание, выключаю болтовню!» — Ирина повернула ручку. Тут такое началось! Потому что выключатель-то сработал! И все это оказалось самой настоящей правдой. Я почувствовал, что язык у меня во рту стал будто цементным — не пошевелить. Такое бывает, когда недозрелую хурму съешь. И вот тут уже все испугались.

А Ирина говорит: «Наконец-то тишина. Всегда бы так!» Она еще не поняла, что сделала. А потом вдруг увидела и сказала: «Все, пошутили и хватит!» Но потом поняла, что никто не шутит. Многие заплакали, почти беззвучно, сипят, мычат, беда просто!

«Филиппов, что это такое, где ты взял?» — спрашивает Ирина.

А я ничего ответить не могу, только пальцем на выход из класса показываю. Я сам такого вообще не помню, это мне Серега по-

том рассказал. А Серега молодец, первым догадался. Он схватил ручку и написал быстро-быстро прямо в тетради: «Включите обратно». И Ирине под нос сунул.

А она поверила... А чего еще делать?! Она повернула ручку и сказала. «Включаю, можете разговаривать».

И когда все успокоились, положила выключатель на стол и сказала мне и Сереге после урока остаться. А потом, когда узнала, что выключатель мой, повела меня к Глюкозе. Но когда мы подошли к кабинету, Ирина оставила меня в коридоре, чтобы ждал, а сама с выключателем вошла и дверь закрыла.

Я прислонился ухом и попробовал подслушать, но на перемене в коридоре у нас в школе так шумят, что все равно ничего услышать невозможно. А потом меня вызвали.

Ирина спрашивает: «Скажи пожалуйста, откуда эта вещь?»

А я говорю, что на помойке недавно нашел и в школу принес, чтобы с друзьями посоветоваться.

А Глюкоза так зло говорит: «Тебе что, не объясняли, что на улице ничего подбирать нельзя, вон, террористы специально разные вещи разбрасывают для таких дураков, как ты. И где это ты был во время моего урока? Ну-ка смотри мне в глаза и отвечай!»

Я тогда не стал ей в глаза смотреть, и отвечать не стал, а подумал сразу о двух вещах, во-первых, о том, что террористы вряд ли будут бомбы под выключатели маскировать, а, во-вторых, о том, что на настоящем допросе тоже всегда два следователя, не помню, правда, кто мне об этом говорил, один добренький, типа Ирины, а другой злой, как Глюкоза.

И тут телефон на столе у Глюкозы зазвонил.

«Да, — говорит она, — директора нет, это завуч. Слушаю вас».

А потом вдруг бледнеет так и говорит:

«Кто-кто? Да, они у нас учатся. Ужас какой!»

Потом еще слушает, а я почему-то уже догадываюсь, что ей о моих друзьях говорят. А она спрашивает в трубку:

«И большой ущерб?... Ну хоть это, слава богу... Можете мне поверить, я с ними поговорю. И с родителями... Да-да... — и снова: — Да-да».

А потом, когда повесила трубку, говорит еще злее: «Ну вот, остальные прогульщики объявились. Ирина Васильевна, знаете, что они натворили! Что у вас за класс! Выгнать бы их всех из гимназии!»

На самом деле ничего особенного мои друзья не натворили. Просто подожгли эту свалку. А рабочие увидели дым и их поймали. А свалка даже разгореться не успела.

«Ты тоже с ними был? — спрашивает Глюкоза, — этот выключатель там нашел?»

А я молчу.

«Долго будем в партизан играть? Все равно все узнаю!» — И орет уже.

Тут Ирина вступилась: «София Михайловна, он вообще-то хороший мальчик, просто интересуется многим, дети есть дети... Тем более урок уже начинается, давайте его отпустим». А Глюкоза тогда говорит уже спокойно: «Выключатель следовало бы отнести туда, где ты его взял. Если на помойке, то я сама его и выброшу. А с твоими родителями мы еще побеседуем!»

Так я ей и поверил! Не насчет родителей, а насчет выключателя.

Я, когда пришел домой, сразу Витальке все это рассказал. Он считает, что выключатель мог какое-нибудь психическое излучение посылать, а скорее всего, это был случай массового самогипноза. Но почему именно с моим выключателем? К тому же вот уже два дня прошло, а родителей так и не вызвали. Глюкоза с той поры в школе не появляется. Странно все это, никто из учителей ничего про нее не говорит. Может, она случайно сама себя выключила, а, может, теперь с моим выключателем банк решила ограбить — зачем тогда ей в школе работать. В общем, поживем-увидим.

КАМНИ

Они на карьере, где с одной стороны еще продолжают добывать песок, а с другой наползает свалка: разбитые корпуса ма-

шин, ржавая проволока, строительный мусор и старые железные кровати, выброшенные из летнего лагеря. Между решетками спинок дрожит воздух — словно там застряли и трепещут детские дневные сны. Тихий час. И здесь, в карьере, продолжается тихий час. Да и сам карьер напоминает чей-то сон, где над ржавой проволокой почти беззвучно кружатся бабочки. Крапивницы, репейницы, павлиньи глаза. Этими большими темными глазами на крыльях карьер разглядывает своих гостей.

Их трое — мужчина, женщина и ребенок. Мужчина в шортах и зеленой футболке, в плетеной из соломы шляпе, с круглым лицом, на котором поблескивают очки в тонкой золотистой оправе, женщина и ребенок тоже в шортах и футболках — жарко. Женщина (короткая стрижка, миниатюрная стройная фигура) похожа на подростка, старшего брата светловолосого пятилетнего малыша в синей кепке с большим козырьком и пластмассовой лопатой в руке. Они приехали на большой белой, местами ржавой машине, вполне вписывающейся в окружающий свалочный пейзаж. Но люди приехали не выбрасывать ее на свалку, а, наоборот, заполнять машину частью этого карьера-свалки, проща говоря, собирать камни.

И теперь они стоят возле машины и разглядывают склон.

— Папа, а здесь водятся привидения? — спрашивает ребенок.

— А как же... Здесь по ночам ходит черный мусорщик. Он садится вот в этот бесколесный автомобиль. — Мужчина протягивает руку в сторону жеваного корпуса жигулей, венчающего мусорную гору — и летает над своими владениями.

— А днем?

— Днем он спит.

— А где он спит?

— А вот здесь, в пещере под склоном. Или в трансформаторной буд...

Мальчик прижимается к женщине и та перебивает:

— Вовка, все. Хватит языком молоть! Совсем ребенка запугал. А ты, Максик, не верь ему, он шутит так.

Им нужны не всякие камни, лишь небольшие, размером с человеческую голову, с кочан капусты, и к тому же красивые, те, что могут подойти для декоративной цветочной горки. Для нее подходят не только камни — в прошлое воскресенье вместо камней они привезли со свалки плоские куски бетонной стены, на которых с одной стороны кое-где сохранился кафель: вкопанный должным образом, этот строительный мусор превратился во вполне естественные дорожки и перегородки. Но сейчас их интересует песчаный склон, где, словно щупальца доисторических животных, вьются корни сосен и разноцветными пятнами выступают валуны.

В полях камни другие, они даже под дождем одинаковые, серые от земли — с годами земля выталкивает их, но сама намертво остается в трещинках, придавая им серый оттенок, эти камни идут против человека, о них тупятся плуги, и крестьяне каждый год воюют с ними, складывая побежденных в кучи на краю поля.

Описывая этих дачников и их поиски, я вспоминаю трассу через перевал Санташ, неподалеку от нее находится гора камней, оставленных не крестьянами, а воинами. Это был очередной поход Тимура, и каждый из его солдат оставил на перевале камень. Потом эта популярная история вошла в рекламный ролик банка «Империал»: гора камней в желтой песчаной пустыне, блеск и звон оружия. На самом же деле — сей курган находится не в пустыне, а среди весьма живописной горной местности. Зеленая трава, облепиха, редкий ельник, чистые горные реки и столь же чистый воздух — неспроста этот район называют Восточной Швейцарией. Впрочем, я знаю несколько «псевдошвейцарий» как впрочем, и «псевдовенеций», и «третьих Римов», а уж Вавилонов — их просто не счесть.

Ольга и Макс ползают по песчаному склону и выковыривают камни, они шумно скатываются вниз — у каждого свой голос падения. Володя поднимает их и оттаскивает в машину. Некоторые из камней теплые.

Но два самых крупных камня для их горки принесены не из карьера, а из ближайшего леса. Они лежали среди сосен, выставив покрытые лишайником и мхом бока, седые и безучастные к светлым Вовкиным действиям, словно старцы. Пришлось звать на помощь соседа Толяна. Вдвоем все оказалось проще — достаточно было подцепить камень двумя ломачами, и он легко вылезал, оставляя после себя неглубокую коричневую лунку с гладкими стенами. В обеих лунках не оказалось ни одного насекомого, хотя воспоминания настойчиво навязывали Володе и светливых мелких муравьев, и коричневых юрких многоножек, и сонных дождевых червей.

Камни удалось по очереди довести до участка на тачке. Там они приобрели пол — один из камней, серый, покрытый седым лишайником, стал мужским, а тот, точнее та, не камень — глыба, подобранная чуть ниже, в сыром лесу, поросшая с одной стороны зеленым мхом, который удалось сохранить при перевозке — женским. Старик и старуха.

Теперь Володя с Ольгой привозили им детей. С Володиной точки зрения, это были уже не просто камни, и он уже мысленно готовил объяснение для возможных гостей: «С одной стороны, они в совокупности образуют объект искусства, а с другой, когда каждый из них отобран, рассмотрен и поименован — живые предметы, и можно рассматривать психологию их взаимоотношений. Наша горка представляет собой большую каменную семью».

Вечером Володя рассказывает сыну очередную сказку по мотивам недавних событий. Звучит она приблизительно так:

«В одном неглубоком, поросшем по краям малиной и сосной карьере жил небольшой, размером с человеческую голову, старый камень. Он был розовый в черных крапинках. Когда-то давным-давно этот камень откололся от большой гранитной скалы и осколком-подростком, как и все подростки, угловатым и неловким, отправился в самостоятельную жизнь. В своем путешествии по земле и внутри земли он сталкивался с другими камнями, его облизывала вода, он стирал острые грани, терял песчинки и с возрастом стал круглым и ровным.

Рядом с карьером находилась дорога, ведущая в детский летний лагерь. И в один теплый безоблачный день мимо карьера проехали автобусы с детьми. Из окна одного из автобусов вместе со звуками песен вырвался воздушный шарик. Одна девочка его неплотно привязала к пальцу, он оборвал нитку и полетел сначала над дорогой, затем над карьером.

Неподалеку от нашего камня шарик метнулся к земле, запутался в травинках и, пытаясь освободиться, принялся нетерпеливо подпрыгивать.

Розовый камень принял его за своего собрата, вежливо поздоровался и предложил присесть на песок и поговорить.

— Не волнуйся, брат, — сказал он, — ветер усилится и ты продолжишь путешествие.

Но шарик лишь еще больше надулся.

— Я камням не брат, — ответил шарик, — у меня другое содержание. Я создан, чтобы летать. Ты вот уже старый, а не видел и капли того, что видел я. Я летал над цветами и деревьями, я был в человеческих жилищах, я даже видел море, которое своими волнами перемальывает таких, как ты, в песок. Я... — сказал шарик, но тут порыв ветра дернул его, он подпрыгнул, накололся на шип растущей рядом колючки и лопнул.

От него осталась лишь резинка, похожая на высохший цветок. А розовый камень заснул — камни вообще-то очень любят спать, и во сне видел, как летит над зеленой травой, домами и пенными губами моря...»

— Я видел это камень на нашей клумбе, — говорит Макс и тут же переключается, — ты только, пока я сплю, песочную кучу не разрушай.

Песочная куча для Максима — тот же карьер. Там лежат камни, кусочки проволоки, сосновые иголки, шишки и прочий мусор. Днем на карьер приезжает большой красный грузовик, в котором сидят Бэтмен, Человек-паук и Скелет динозавра из чупа-чупса. Они уже построили себе дом и теперь приехали на карьер добывать камни, чтобы возле дома сделать себе клумбу.

Бэтмен и Скелет динозавра ползают по песчаному склону и выковыривают камни, те скатываются вниз — у каждого свой голос падения. Человек-паук поднимает их и оттаскивает в машину. Некоторые из камней теплые...

ВОЛКИ

Вечером Лешина бабушка хотела проводить ребят на семи-часовой автобус, но Гриша сказал, что не надо, как-никак обоим скоро уже четырнадцать, скоро паспорт дадут, так что беспокоиться нечего. Тем более что Лешина тетя жила в Боровичах рядом с автобусной станцией.

Бабушку удалось убедить, и ребята пошли на остановку одни. Она находилась среди полей, в двух километрах от деревни Сельцо, где они гостили, и в километре от деревни Закарасенье, что с другой стороны дороги. Откуда у деревни взялось такое название, никто объяснить не мог: ни в реке, ни в озере караси не водились. К семи часам друзья уже были на остановке, однако обещанный автобус опаздывал. Расписание было и на стене автостанции, и на табличке возле остановки, но это ничего не значило. Автобусы ходили каждые два-три часа, независимо от него. Мобильники, ни Гришин, ни Лешкин здесь не ловили, однако ими можно было пользоваться как часами. Пошел снег, мелкая редкая снежная крупа, и чтобы не замерзнуть, ребята решили развести на обочине костер. Дров вокруг было много — дорогу от полей отделяла лесополоса: березы, осины, ольха и ива. Часть деревьев уже сбросила листья и сквозь полосу можно было видеть поля и на горизонте дома Закарасенья.

У Гриши была с собой книжка — «Таинственный остров», старая, полурассыпавшаяся, найденная на одной из полок в деревенском доме. Ребята вырвали несколько прочитанных страниц, скомкали их и запихнули под собранные ветки. «Дедушка этого

бы не одобрил, — подумал Гриша, — но у нас другого выхода нет». С костром пришлось повозиться: сначала спички гасли, не успев поджечь бумагу, затем она вся прогорела, но не зажгла костер, и пришлось снова вырвать страницы. В конце концов ветки занялись, и оставалось только подбрасывать новые. Тем временем стемнело, и снег перестал.

Когда Гриша в очередной раз отправился за дровами через канаву к лесополосе, увидел, что в поле неподалеку кто-то есть. Темные силуэты, мерцающие огоньки. Ему стало страшно. Забыв о дровах, он рванул назад, но, перепрыгивая канаву, поскользнулся и чуть не разметал костер.

— Осторожнее, — сказал Леха, — ты чего?

— Там кто-то... — прошептал Гриша, словно этот кто-то, находящийся далеко в поле, мог его услышать, — какие-то звери.

Вдвоем они отошли чуть в сторону от костра, чтобы отблески пламени, падающие на деревья, не мешали рассмотреть, что же за ними. Неясные тени, парные желтые огоньки.

— Вдруг это волки, — Лешка теперь тоже говорил шепотом.

— Волков здесь нет, — успокоил его или себя Гриша, — твоя бабушка говорила. Уже давно нет. Может, собаки?

— Надо быть ближе к костру, они огня боятся.

Ребята встали около костра, так что пламя теперь находилось между ними и существами в лесу. Но в этот момент страх вновь нахлынул на Гришу: «кто-то» был не только в поле, но и на дороге. Мало того, этот «кто-то на дороге» приближался. Но вскоре стало ясно — по дороге идет не зверь, а человек. Здоровенный дядька в куртке и резиновых сапогах, с большим лицом, наполовину замотанным шарфом.

Дети поздоровались, дядька кивнул в ответ, скинул рюкзак и протянул к пламени руки.

— Здесь, — сказал Гриша, — рядом, кажется, волки.

— А вы и боитесь? — дядька усмехнулся.

— Немного побаиваемся, — ответил Леха.

Дядька кашлянул, затем спокойно произнес:

— Зря. Они вас не тронут. Вы сами-то как здесь оказались.

— Мы из Сельца, — сказал Лешка, — автобус не пришел, вот и ждем.

— Чего-то не помню таких смелых пацанов в Сельце.

— Мы у бабушки были. Екатерины Юрьевны. На каникулы приезжали.

— Так вы Катинины внуки. А вы знаете ее брата? — дядька снова кашлянул. — Рафаила?

— Я не внук, — сказал Гриша, — это Леха внук.

— А Гриша со мной в одном классе учится, — добавил Лешка.

Что до Рафаила, то Лешина бабушка лишь рассказывала о нем. Говорила, что брат колдун и у него черный глаз. В общем, сглазить может. Но Гриша вместо того, чтобы ответить, что Рафаила лично он не знает, но слышал о нем, снова спросил:

— А почему вы говорите, что волки нас не тронут?

— Это не обычные волки. Вам Катерина про Рафаила что-нибудь рассказывала?

— Якобы он колдун, — сказал Гриша.

— Правильно. Так вот, была вчера в Закарасенье свадьба. Колька Батон на Татьяне Коневой женился. Всех позвали, а Рафаила испугались. Дескать, зачем Рафаила звать, он и так никуда не ходит. А ведь могли хотя бы зайти и пригласить. Так вот, Батон венчаться в церкви, что у вас в поселке, хотел, да не вышло. Когда свадьба из деревни выехала, все волками и стали.

Гриша, хотя и не верил дядькиной истории, снова почувствовал на спине мурашки.

— Вы шутите, — сказал Лешка.

— Ни капли, — спокойно ответил дядька, — машины до сих пор там стоят. Весь поселок на свадьбу пошел. Точнее, не дошел. Никого больше не осталось.

В этот момент порыв ветра донес рокот мотора, и вскоре фары вывернувшего из-за поворота автобуса высветили опушку леса. Волков на ней не было. Никого не было.

— Я с вами, ребята, не поеду, — сказал дядька, — мне в другую сторону.

Затем он полез в рюкзак и достал обеими руками двойную горсть конфет. Его руки, сложенные вместе, были не меньше лопаты, что стояла у бабушки в коридоре.

— Вот, малыши, вам гостинец в дорогу, чтобы веселей ехать было, — сказал он, — подставляйте карманы.

— Спасибо, — ответил Леха, — но мы уже не малыши.

— Для меня вы все малыши. Берите, не стесняйтесь.

Автобус остановился, открыл переднюю дверь прямо напротив костра, и Гриша с Лешей оказались в теплом салоне, подсвеченном огнями над креслами. Сквозь стекло Гриша увидел, как дядька машет рукой, и помахал в ответ.

Через пару минут дети уже сидели в кресле и ели конфеты. Это были Гришины любимые, шоколадные пирамидки, которые родители называли трюфелями.

— Ты поверил про колдуна? — сказал Леха, разглядывая фантик. Смотри, Санкт-Петербургская фабрика.

— Не очень. Но волки-то откуда?

— Может, это собаки были. Бродячие.

А Гриша вдруг подумал, что если, скажем, дядька не просто так пугал и в деревне никого не осталось, то кто же он сам? Ответ напрашивался сам собой: Рафаил. Тем более что верхней половиной лица и глазами он очень был похож на Лешкину бабушку. И почему в Закарасенье не горело ни одного огня, ведь оно находилось прямо за полем. Но Гриша не очень верил в оборотней.

Леха уплетал конфеты одну за другой.

— А если Рафаил колдун, — подумал Гриша вслух, — то и конфеты могут быть заколдованными. Кто много их ест, может стать волком.

Он представил, что у Лехи, как это обычно бывает в кино про оборотней, лицо покрывается волосами, вытягивается, и руки становятся когтистыми лапами. Нет, не получается...

— Прикольно было бы стать волками, — сказал Леха и изобразил волчий рык.

— Ты не похож на волка, — сказал Гриша, — скорее, на поросенка. И не рычишь, а хрюкаешь.

Леха не обиделся, а рассмеялся.

— Попробуй ты теперь.

— Я мало конфет съел.

В этот момент тренькнул Лешкин мобильник.

Леша вытащил его из кармана и посмотрел на экран.

— О, есть связь. Смс пришла. Тетка уже мне звонила.

Пока он говорил с тетей Валей, объясняя, что автобус задержался и что они еще едут и встречать их не надо, Гриша достал остатки «Таинственного острова» и попытался читать. Сосредоточиться не получалось; стоило прочесть предложение, как строчки начинали сливаться, превращаясь в невообразимую рябь. Помимо этого, в автобусе гадко пахло бензином, к этому запаху примешивался запах куры от тетки на переднем сиденье, а от ее сумки несло луком, мандаринами и ванилью. К счастью, автобус остановился и открыл двери.

Гриша выскочил в темноту, на свежий воздух. Он совсем не удивился тому, что, пока выпрыгивал из дверей, начал превращаться. Когда автобус тронулся, Гриша уже стал волком. Что-то побудило его бежать назад, в сторону остановки, от которой они отъехали на несколько километров. Но для волка это не расстояние. Вот уже и огоньки костра.

И тут он увидел тех, кто его напугал полчаса тому назад. Темные, почти черные звери, запах которых означал одно — опасность. Они перегородили дорогу, окружили Гришу с флангов. Но на этот раз Гриша не боялся. Он приготовился драться. Он был предельно собран и знал, что еще секунда — и первый из волков бросится на него.

Но вдруг ситуация изменилась. Напряжение исчезло. Поджав хвосты, звери отступили. Гриша обернулся и увидел за спиной того самого дядьку, что угощал конфетами на остановке. И сейчас позади был деревенский дом, крыльцо, теплый свет фонаря возле дороги.

— Ой, — сказал Гриша, — как же Лешка, автобус.

— Этот автобус уже давно ушел, — Рафаил улыбнулся и открыл дверь, — заходи.

Ни в комнате, ни на кухне у Рафаила не было ничего особенного. Обычная старая мебель, несколько полок с книгами, стол с голубой клеенкой, на которой были нарисованы фрукты, и даже телевизор в углу. Везде очень чисто. Печь такая же, как у Лешинной бабушки, рядом с печью, на веревке, связки сушеных трав. Но и в этом не было ничего особенного — Лешина бабушка тоже собирала и сушила травы. В печи горел огонь.

— Садись, выпей чаю, — сказал Рафаил.

Он достал из шкафчика вазу с конфетами, китайский чайник с нарисованными драконами и такие же чашки. Затем включил электрический чайник, точно такой же, как дома у самого Гриши. И вкус чая Грише показался знакомым: мята, смородиновый лист — именно так заваривал чай Гришин дед.

— Ну и скажи мне, чего же ты хочешь? — вдруг спросил Рафаил.

Гриша понял, что этот вопрос не касается того, чего он хочет к чаю, не касается даже его близких и обыденных желаний, каких-то вещей от нового велосипеда до нового компьютера. Он понял, что Рафаил спрашивает не об этом. Гриша хотел, чтобы не умирали мама и папа, бабушки и дедушка, но это было неизбежно и тоже не могло быть его желанием.

— Что я хочу, — повторил Гриша.

Рафаил тем временем куда-то вышел, оставив мальчика одного. В минуты серьезных раздумий Грише требовалось что-нибудь крутить в руках, работа пальцами словно направляла мысли в нужную сторону. Но сейчас их просто не было. Гриша взял фантик и начал складывать из него кораблик. «Сложится, значит, все получится...» Кораблик, по крайней мере, получился. Он поплыл по голубому морю клеенки, между яблочными, грушевыми и виноградными островами. Гриша представил это море, и его даже качнуло на первой волне...

— Гриша, мы приехали, — услышал он Лешкин голос, — все уже вышли.

Гриша понял, что находится в салоне автобуса, двери которого открыты. Под ногами, на рюкзаке, валялась раскрытая книга.

— Ты тоже спал?— спросил Гриша, когда они вышли из автобуса и направились к тетиному дому.

— Спал...

— И тебе что-нибудь снилось?

— Ничего... — Леха задумался. — Кажется, ничего.

— А мне снилось, будто бы я в волка превратился и был в гостях у колдуна этого. Рафаила.

— Прикольнo.

Лешкина тетя основательно подготовилась к приезду гостей. Она, наверное, вообразила, что у бабушки в деревне совсем не было ничего вкусного. Суп, котлеты, колбаса, салат такой, салат сякой — в итоге дети съели десятую часть того, что было приготовлено, и уже были сыты.

Когда подошла очередь чая, Гриша вспомнил о конфетах.

— А мы с собой тоже кое-чего привезли, — сказал Гриша.

Он пошел к куртке вытряхнул из карманов десяток конфет, носовой платок, несколько скомканных фантиков, и вдруг увидел... Один из фантиков был сложен в форме кораблика. Это был именно тот кораблик, что он складывал в гостях у Рафаила.

ДУЭЛЬ

Утомительное дело ждать звонка. Сосед по парте Макс зевал каждую вторую минуту. Зевота заразна. И Гриша тоже начал зевать. Затем полез в парту и обнаружил выдранныю кем-то из книги страницу. «Мой дядя самых честных правил...» — прочитал Гриша.

Знаменитую поэму Пушкина проходили в старших классах, но Гриша уже был с ней знаком. Не потому что любил поэзию. На прошлой неделе один из гостей дедушки, а у деда на кухне часто собирались гости, читал матерную пародию на «Онегина». Все кухонные разговоры легко просачивались сквозь стену в Гришину комнату, и обычно он их воспринимал как фон, однако

поэму стал слушать. А утром зашел к деду в комнату и спросил о вчерашних стихах. Дед ответил, что все это были взрослые глупости, не предназначенные для детских ушей, и вместо пародии продекламировал наизусть десяток первых строф настоящего «Онегина». Затем он достал с полки один из синих томиков и протянул Грише.

Книга читалась легко. Гриша создал в воображении портрет Евгения, он был похож на одного из дедовых студентов, тощего, не очень любезного юношу, который, здороваясь с Гришей, протягивал кончики пальцев и обращался на «вы». Среди студентов был также и Ленский, розовощекий, слегка заикающийся парень, больше похожий на старшекласника, чем на студента. Татьяна и Ольга не имели прототипов и были весьма схематичны — просто девицы из книжки. Отношения между героями были Грише скучны, намного интереснее, например, описание дуэли, там где:

... Пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремль
Взведен еще...

Устройство огнестрельного оружия со времен царя Гороха и до наших дней занимало Гришу гораздо больше, чем вся эта поэзия. Он хорошо представлял поле, прозрачный березовый лес и двух сходящихся дуэлянтов. На эти представления, возможно, повлияли фильмы, потому что дуэлянты, которых он воображал, уже не были похожи на дедовых студентов: один — на Пушкина, в котелке и с бакенбардами, а другой — на профессора Мориарти из сериала про Шерлока Холмса.

— Оух, — Макс откинулся на спинку сиденья и, не прикрывая рот, снова широко зевнул.

Хоть плюй туда. Гриша подумал о двух воронах из анекдота, который показывают на пальцах двух рук:

Первая ворона (обращаясь ко второй): Скажи кар!

Вторая ворона (широко раскрывая клюв): Карр!

Первая ворона: Тьфу-тьфуту-тьфуту! (плюет в раскрытый клюв второй, затем хохочет, разинув собственный клюв).

Тогда вторая ворона плюет в раскрытый клюв первой.

И так далее...

То ли слово «ворона» срифмовалось в сознании Гриши с воронкой, то ли форма птичьего клюва навела на вредную мысль, но Гриша скрутил найденный в парте листок в форму воронки и стал ждать, когда Макс снова зевнет. Макс зевнул, и воронка, скрученная Гришей, очень удачно вошла ему в рот.

Макс с вытаращенными глазами закрутил головой. Края воронки торчали из его рта. Те, кто сидел на соседних партах, начали давиться от смеха. Увидела Макса и Лариса-крыса. Точнее, Лариса Николаевна.

— Максимов, ты что?

— Ничего... — Макс наконец вынул воронку, — вот дурак-то.

Последнее было обращено к Грише.

— Дай это мне сейчас же! — приказала Лариса.

Макс развернул листок и протянул учительнице. Та брезгливо, двумя пальцами взяла его.

— Это же Пушкин! Дмитриев, встань! Откуда ты это вырвал?

— В парте... был... — ответил Гриша.

— Ты хочешь сказать, что нашел это листок в парте... Покажи-ка мне свой рюкзак.

В рюкзаке у Гриши помимо учебников и тетрадей лежал самодельный, уже почти не игрушечный, заряженный пистолет-поджиг: рукоять была вырезана из дерева, а ствол представлял собой трубку, заклепанную с одного конца и заполненную порохом, тайно извлеченным из охотничьих патронов Максва отца. В открытый конец трубки был вставлен пыж и свинцовая пуля. В трубке сбоку была высверлена дырка, чтобы этот порох поджечь. Испытание оружия было назначено после уроков.

— Вы не имеете права досматривать мое личное имущество, — заявил Гриша.

— Тогда собирай свое личное имущество и марш из класса!

Гриша не возражал. Бессмысленно объяснять, что бережное отношение к книгам было семейным правилом и только в случае крайней необходимости Гриша стал бы выдергивать страницы. Такая необходимость случилась, например, недавней осенью, когда они с Лехой разводили костер «Капитаном Немо». Но это уже совсем другая история. Да и сам «капитан» был уже в полумертвом, рассыпанном по листочкам состоянии.

— Приведешь родителей! — крикнула вдогонку Лариса.

«Пушкин-...уюшкин! — Гриша вдруг представил, как она ест листы бумаги один за другим, чавкая и пуская слюну. — Подавить своим Пушкиным!»

Настоящий Пушкин был нормальным веселым парнем, не зря лицеисты его обезьяной дразнили. Если бы он сидел рядом с Максом, то тоже бы запихнул ему в рот такую же воронку. Кого они там проходили на литре? Ломоносова, Державина, что ли. Вот Державина бы и запихнул. А потом бы еще и радовался: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — последние слова были одной из многочисленных присказок Гришиного деда.

Гриша так увлекся размышлениями, что не заметил, как за его спиной тихо открылась дверь и в коридор из пустого класса вышел директор. Тот некоторое время наблюдал за мальчиком, затем произнес:

— Так, молодой человек, гуляем, значит.

Гриша вздрогнул от неожиданности и обернулся. Почему-то он не боялся директора, пожилого, седоволосого, похожего на льва учителя математики. Грише нравился слегка ироничный, но при этом доброжелательный тон, с которым директор обращался к ученикам. Да и по математике у Гриши была твердая пятерка.

— Здравствуйте.

— С чего это вдруг вы, Дмитриев, в коридоре во время урока?

— Меня выгнали, — отрапортовал Гриша.

— И чем же вы разгневали Ларису Николаевну?

— Я был изгнан за глумление над классиком.

— За что?

— Я Пушкиным Максимову рот заткнул.

— Кем?

— Мне из тетради листок вырывать не хотелось, а этот в парте лежал. Ну, я свернул из него воронку и вставил Максимову в рот.

— Нда... Тяжелый случай. А зачем?

— Он зевал.

— Так, — директор задумался, — и каким же стихотворением?

— Началом из «Онегина». Кто-то страницу в парте оставил.

Грише было наплевать, что подумает Лариска, но совсем не хотелось, чтобы директор, так же, как и она, подозревал Гришу в вырывании листов из книги ради забавы.

— А не рановато ли вы Онегина проходите? — сказал директор.

— Мы и не проходим. Я дома читал, — ответил Гриша, — так, случайно. А листок в парте старшеклассники оставили.

— Тебе, значит, Пушкин нравится?

— Не очень. Мне больше Бунин нравится.

— Ого. Ну и что тебе у Бунина нравится?

На самом деле Грише нравилось только одно стихотворение Бунина. Гриша его тоже узнал от деда. Это случилось летом, когда они отдыхали на Черном море. Стихотворение завораживало жуткими непонятными словами, а когда дед объяснил, что они значат, стало еще более красивым.

— Стихотворение про Крым, — сказал Гриша, — обрыв Яйлы. Как руки фурий, торчит над бездною из скал, колючий, искривленный бурей, сухой и звонкий астрагал...

Дальше, про орленка и василиска, Гриша наизусть не помнил.

— У меня дедушка поэт, — объяснил Гриша.

— Тогда все ясно. И ты тоже стихи пишешь? — спросил директор.

— Нет, я только прозу. Роман.

Гриша смутился. Они на пару с Максом действительно писали фантастический роман под названием «Тайна Черного кам-

ня». Первая тетрадь уже была почти закончена и даже проиллюстрирована, но сюжет еще только начинал развиваться.

— Любопытно. Покажешь, когда напишешь?

— Угу, — сказал Гриша.

— Ладно, — сказал директор, — раз тебя наказали, хоть не шлейся по коридору. Сиди вон в холле на скамейке и думай о смысле жизни.

До звонка оставались считанные минуты. Гриша расположился на скамейке. Но думать о смысле жизни не стал. Поджига в портфеле вновь завладела его сознанием. Жаль, что Макса не выгнали. Можно было бы пойти на улицу и испытать. Он представил, как поднимает пистолет и целится во врага, лицо которого похоже то на лицо профессора Мориарти, то на лицо тощего студента, то на лицо Черта, парня из старшего класса, не раз обижавшего Гришу, то на лицо Ларисы-крысы. Вот она падает на колени и просит прощения. В последнем случае он опускает пистолет и говорит, как Жан Рено в фильме «Леон»: «В женщин и детей не стреляю». Но встает с коленей уже не она, а зловещий Дантес-Мориарти, который выхватывает из кармана пистолет и наводит на Гришу. Гриша жмет на курок.

Вместо выстрела раздался звон. Такой оглушительный, что содрогнулась вся школа. За ним последовали топот, хлопки дверей и гомон десятков голосов. Поток учеников заполнил коридор, а затем и холл.

Из потока двое направились прямо к Грише. Это были Макс и Лешка.

— Ну ты все-таки и дурак! — сказал Макс.

— Макс, прости, — покаялся Гриша, — ты так варезку развезал, что просто невозможно было устоять.

— Все равно прикольно получилось. — Леха засмеялся. — А как ты сказал... «не имеете права досматривать личное имущество».

— Представляешь, если бы она пистоль нашла...

— Ну что, идем...

Из школы они вышли уже впятером. Добавились две девчонки, подруги Машка и Ната. К Наташе, большеглазой, темноволосой, вполне сложившейся барышне, проявляла интерес почти

вся мужская половина класса. Правда, половиной ее было назвать трудно — девочек в классе было втрое больше.

Они миновали квартал и остановились на пустыре под Гришиным домом, мусорном поле, покрытом снегом. В некоторых местах он сошел, и сверху пустырь напоминал увеличенную кору старых берез, растущих по его дальнему краю.

— Пойдем туда, — Леха указал на деревья, — там можно мишень повесить.

— Зачем, — возразил Гриша, — здесь должна быть куча досок. Я ее из окна видел.

Они нашли рейку высотой около полутора метров и воткнули ее в снег. Затем Гриша поставил рюкзак, раскрыл его и достал вырезанную из твердого картона мишень — ухмыляющееся лицо Дантеса-Мориарти, и кнопками закрепил его.

— Придется стрелять в лицо, раз тела нет.

— Кинем жребий, — сказал Макс.

В изготовлении оружия Макс и Гриша принимали равное участие, поэтому оба имели равное право на первый выстрел. Девчонки тем временем отошли в сторону и говорили о чем-то своем.

— Орел — Макс. — Леха полез в карман за монетой. — Решка — Гриха.

Выпала решка. Гриша достал оружие. Нужно было чиркнуть коробком о спичку, примотанную изолентой к стволу, она поджигала серу от спичек на полке, а та, в свою очередь, через дырочку пороховой заряд.

Гриша чиркнул коробком и, когда спичка загорелась, прицелился в Дантеса-Мориарти. Он вдруг представил себе всю предыдущую сцену: белую перчатку, брошенную этому злодею в лицо, и его гнусную ухмылку на предложение извиниться. Макс и Леха были секундантами, Машка врачом, а Ната, естественно, той, кого пытался соблазнить злодей. Из-за нее Гриша вызвал на дуэль этого гада.

Огонек зашипел, запрыгал над оружием. Затем грохнуло. Пистолет вырвало из руки и отбросило в сторону. Гриша почувство-

вал, как что-то больно ударило в бок. Дантес-Мориарти продолжал нагло ухмыляться.

— Промазал, — произнес Гриша.

Он увидел под ногами разорванный, развернутый цветком ствол пистолета. Деревянная ручка валялась где-то в стороне.

Боль в боку нарастала, становилась нестерпимой. Он сунул руку под куртку, дотронулся до рубахи. Когда он вытащил руку, она была в крови.

— Ой, — сказала Наташа.

Гриша испугался. Но ему хватило сил не выпустить наружу свой страх.

— Кажется, меня ранило.

Он задрал куртку, боль обожгла тело, и в этот момент заверещала Машка. Ее резкий крик опрокинул Гришу.

Река шумела за спиной, шумела вокруг. Дантес продолжал ухмыляться. Он склонился над Гришей, и белое пятно его лица наполнило туманом все пространство. Затем из глубины медленно выплыл огромный светящийся шар. Гриша слышал обрывки разговоров, видел лица в белых масках, которые кружились вокруг пылающего шара. Неожиданно маленькой темной рыбкой перед его взором промелькнул некий предмет, и ровный спокойный голос произнес: «Вот она, злодейка, что хотела лишить вас жизни. Теперь опасность уже позади. Но знаете, дорогой Александр Сергеевич, все это вам придется переписать...»

ЧТО ГОВОРИТ НЕБО

(цикл из девяти маленьких рассказов)

ЛЕСТНИЦА НА НЕБО

Он подсел ко мне в метро. Грязный измятый плащ, рваные ботинки — вместо шнурков веревки, запах перегара и бедности.

— Читаешь, студент? — спросил он, заглянув в мою книгу.

— Читаю.

Некоторое время он молчал. Но его присутствие мешало мне сосредоточиться, слова проходили мимо сознания, и чуть ли не каждый абзац приходилось перечитывать дважды. Наконец его прорвало:

— А что там пишут про тех, что на небе, есть они, или нет?

Вопрос был настолько далек от текста книги, что я улыбнулся.

— Пишут об этом в книгах или нет? — повторил он.

Его рассердила моя улыбка, теперь каждое его слово заканчивалось брызгами слюны, летящими во все стороны.

— Знаешь, студент, они не любят, когда смеются.

Я пожал плечами.

— Ты вот, говоришь, нет, — продолжил мужик (я не смотрел в его сторону, но чувствовал капли, летящие с его губ на мою одежду), — а я с ними встречался. Они прилетели до всего этого, после войны сразу. И они не любят, когда смеются. Это были шары. Ты понимаешь?

Я кивнул. Поезд подходил к моей станции.

— Они прилетели и спустили лестницу. И лестница до них семь с половиной метров. Понимаешь?

Я снова кивнул и встал.

— До свиданья, — сказал я, — мне пора выходить.

Он меня не слышал и с еще большей экспрессией (уже на весь вагон), продолжал кричать:

— Семь с половиной метров! Запомни, лестница до них семь с половиной метров! Вот какая большая!

Теперь я знаю длину лестницы на небо.

ПРОДАВЕЦ КОЛЮЧЕК

Эта история начинается с простых и бесспорных утверждений. Весной прилетают с юга птицы. Они пересекают залив и останавливаются на отдых неподалеку от Лахты, в болотах Юнтоловского заказника. Весной Гришина мастерская, а правильнее — большой жилой дом на самом краю поселка, возле этих болот, заполняется гостями. Они, как и птицы, чаще всего приезжают с юга. На этот раз гостями были: брат по кисти Майкл и три девушки, две из Словакии, одна из Белоруссии. Сам Майкл, хотя и жил в Питере, здесь, в Лахте, также считался гостем. В понедельник было солнечно и тепло, Гришина жена, Лина, утром уехала на работу, Петька, их сын, отправился в школу, а Гриша повез друзей к морю. Незадолго до этого он прочитал в какой-то газете, что самые чистые городские пляжи находятся на острове Котлин. Недостроенная дамба превратила его в полуостров, на карте похожий на мотыгу: ручка — линия дамбы, один конец, обращенный к Неве, — город, другой — кладбище, огороды, форт Шанец.

Дорога на пляж тянулась вдоль кладбища и садоводства, затем ныряла под старинный земляной вал и упиралась прямо в форт. Точнее, в железные решетчатые ворота и забор. А по правую руку, вдоль дороги, за измятыми морским ветром деревьями находился пляж.

Через полчаса Гриша и его гости уже были на пляже. Они оставили Таракашку Кэт под кустами возле дороги, а к морю отправились пешком.

Таракашкой Кэт звали машину, Фольксваген-поло, на которой они приехали из города. В Гришиной семье было принято именовать машины, прошлая, девятка, называлась Ласточкой. Потом Ласточку продали, и следующую Лина, не посоветовавшись с Гришей, назвала Кэт и даже прилепила на боковое заднее стекло полупрозрачную кошачью мордочку. А Гриша сразу окрестил машину Таракашкой.

«Тоже мне, придумал, — сказала жена, когда он предложил это имя, — я бы обиделась!»

«Нечего тут обижаться, — ответил Гриша, — тараканы очень быстрые, юркие и ловкие насекомые. Это вполне соответствует качествам машины. А ненависть и брезгливость человека к тараканам происходит лишь оттого, что люди и тараканы являются конкурентами в одной среде обитания. Они мешают друг другу, как коммунальные соседи, и вообще, таракан — весьма красивое насекомое, ничуть не хуже какого-нибудь жука».

«Жуки — это другое семейство», — вяло возразила Лина.

Но в итоге у машины появились имя и фамилия — Таракашка Кэт.

Гриша оставил ботинки в салоне — песок был рыхлый и теплый, вполне пригодный для ходьбы босиком, но гости не последовали его примеру — они собирались на форт, а там всякое могло попасть под ноги. И Гриша, засучив штаны и по щиколотку утопая в песке, повел их за собой. Песок перемежался пластами полусгнившего тростника, полосами облизанных морем камней и уже почти неотличимых от природных кирпичей, микролагунами с вялой, в зеленых прожилках водорослей, водой Маркизовой лужи — здесь это прозвище казалось особенно очевидным: далеко, метрах в ста от берега, маячила одинокая фигура какого-то безумного купальщика, зашедшего лишь по пояс. Форт находился справа, его серые каменно-бетонные стены отвесно поднимались над морем.

Когда-то пляж и форт разделяла колючая проволока на деревянных столбах. Столбы покосились, проволоку погрызли дожди и ветер, а немногие выжившие железные лианы укоренились в пляжном песке. Около бывших заграждений Гриша остановился и сел на бревно возле плоского, похожего на стол, камня.

— Вам теперь до стены и наверх, — сказал он, — а я здесь останусь. Я слово дал.

— Что такое слово? — спросила Яна, девушка из Словакии.

— Слово. Честное. Я пообещал, что больше не зайду на этот форт.

Гости попросили объяснить, и Грише пришлось рассказывать долгую, и, на его собственный взгляд, довольно скучную историю своей первой прогулки по этим местам. Тогда, два года тому назад, форт уже не был грозной военной базой, а, наоборот, представлял собой прекрасную иллюстрацию победы пацифизма над воинственностью — серые бетонные конструкции, зелено-ржавые, похожие на осенние листья тополя, военные машины и орудия утопали в зарослях самых различных цветов — барбариса, сирени и прочих неизвестных Грише кустарников. В широком смысле это была победа природы над цивилизацией. Деревья и трава росли повсюду, даже на башне, бывшем маяке, на самом верху, где когда-то был фонарь, где постоянно дует ветер, развевая волосы, заостряя черты лица, и днем от яркого света приходится щуриться, потому что вокруг никаких преград — везде море, и в нем с одной стороны точки — корабли и вертикальная черточка — маяк Толбухин, с другой, словно черепаха, — форт Тотлебен, с третьей — побережье, дамба, а с четвертой, под ногами — Кронштадт, и за ним, вдали, на самом горизонте — Питер.

Тогда Гриша тоже был с друзьями, они облазили весь форт, сфотографировались под цветущей вишней и возвращались назад уже не по пляжу, а по асфальтовой дороге, заканчивающейся ржавыми воротами, решетки которых украшали некогда красные, а теперь такие же ржавые пятиконечные звезды. Сбоку к воротам прилепилась деревянная небольшая сторожка. И когда до выхода оставалось около ста шагов, из ее дверей навстречу вышла странная разноцветная компания — две женщины средних лет в купальных лифчиках и джинсах, со старинными винтовками за спиной и в окружении собак различных размеров и пород: от большого и пушистого дворянина до болонки. «Это нас арестовывать идут», — пошутил один из Гришиных друзей. Однако «охранники» повели себя весьма дружелюбно: собаки даже

не залаяли на пришельцев, а женщины никого не арестовали, правда потребовали от Гриши, как старшего, честного слова, что больше он со своими друзьями здесь гулять не будет, поскольку форт — особо охраняемый секретный военный объект, отсутствие же забора объясняется отсутствием у государства денег на новую колючую проволоку, и добавили также, что в качестве штрафа, то есть наказания, кому-либо из Гришиных друзей стоило бы взять одного из щенят.

— От щенят мы отказались, — закончил Гриша, — а вот честное слово дали. С той поры я не могу зайти на форт, а вы, разумеется, можете.

Он достал из полиэтиленового пакета блокнот и авторучку, словно собираясь нечто нарисовать или записать о том, как фигурки его друзей удаляются, теряя детали, наконец, обнаружив разлом или лестницу в каменной стене, — издали не видно, поднимаются вверх и исчезают за деревьями. Затем он нашел себе другое занятие: прогулялся до берега, отломил от ограждения несколько кусочков ржавой колючей проволоки и принялся делать из них фигурки различных животных. Вскоре на камне появился целый проволочный зоопарк — от паука до жирафа. Гриша расставил их полукругом и перевел взгляд на море.

Далеко, на камнях, сидели чайки. А по берегу что-то выискивая в гнилом тростнике ходили две вороны. «Здесь они мирно сосуществуют», — Гриша вспомнил, как прошлым летом на южном берегу озера Ильмень они с Линой наблюдали взаимоотношения этих двух видов птиц. Там была серая галька, ярко-зеленая трава и валуны — группами и поодиночке. «Васнецовский пейзаж, — сказала Лина, — только трех богатырей не хватает». Над ними, несмотря на жару, висели низкие облака, под которыми, словно куски рваной бумаги, носимой ветром, летали чайки. Ильменьские чайки были белее питерских, да и занимались они традиционным для чаек промыслом — ловили рыбу, а не выискивали съедобный мусор. Но вдруг откуда-то с берега налетели вороны, черные, крикливые, эдакие птичьи бандиты. Тактика их нападений была довольно изощренной: одна ворона ждала, когда чайка поймает рыбу и поднимется в воздух, затем атаковала

ее, пытаюсь сшибить и вырвать добычу, а вторая тем временем подлетала снизу, чтобы подхватить выпавшую из клюва чайки рыбу. К счастью, ворон было меньше, и не вся рыба доставалась им. А потом, ближе к сумеркам, весь этот крикливый птичий базар куда-то исчез, и небо заняли ласточки.

Одиноким купальщик, здоровенный краснокожий дядька, давно уже вернулся на сушу и сидел на цветной подстилке возле самого берега, метрах в тридцати от Гриши, спиной к нему и лицом к морю. Или это был уже другой купальщик. Гриша не заметил, когда он появился. Дядька, словно почувствовав Гришин взгляд, повернулся и помахал рукой. На самом деле этот жест предназначался женщине и двум мальчишкам, появившимся на тропинке за Гришиной спиной.

— Толя, чего ты сидишь... — перекрикивая слабый голос моря, позвала женщина. — Мы там уже все разложили!

Мальчики тем временем подошли к Грише и, не стесняясь, принялись рассматривать его творения. Старший, на вид ему было около двенадцати, спросил:

— А что это у вас?

— Сувениры, — серьезно ответил Гриша, — военные животные. Сейчас туристы пойдут, я их продавать буду.

— Здесь туристов-то не бывает.

— Бывают. Вот этот пять баксов стоит. — Гриша дотронулся пальцем до железного паука. — А этот всадник десять.

— Я таких знаешь сколько могу понаделать, — сказал младший, обращаясь уже не к Грише, а к своему спутнику.

— Понаделать всякий может, а вот продать, — усмехнулся Гриша, — продать трудно.

Тем временем подошел и купальщик с цветным полотенцем в руке.

— Папа, смотри, дяденька колючки продает.

Он то ли удивленно, то ли укоризненно покачал головой и, взяв младшего за руку, повел куда-то за Гришину спину, скорее всего, на полянку среди ивовых кустов, где «все уже было разложено». Старший отправился следом. Гриша представил

бутерброды на салфетках, пластиковые стаканчики, бутылки с лимонадом, пивом, обернулся — и представленная им картина материализовалась. Только вместо пива было вино. «Пора бы и нам... Впрочем, вообразив собственную трапезу, голод не утолишь».

Гриша раскрыл блокнот и принялся рассматривать вчерашние собственные записи. Читать было трудно: белая бумага даже на северном солнце слепила глаза, ветер бросал на страницы песок, и песчинки превращали одни буквы в другие, изменяя слова. Гриша представил себе такую книгу — книгу, переписанную песком.

Его размышления прервали голоса — возвращались друзья. Яна, высокая, с развевающимися во все стороны дредами, громко рассказывала о чем-то. Она говорила по-русски, но с довольно сильным акцентом. Гриша отложил блокнот и встал.

— Heу, mister, miss, come here, please! — закричал он и принялся махать рукой. Его подмывало обернуться и посмотреть на реакцию сидящей сзади семьи, но он сдержался и продолжил свои зазывания: — These are unique war souvenirs! Very cheap! Exclusive!

Когда друзья подошли, Гриша, понизив голос почти до шепота, объяснил:

— Майкл, я тут со скуки бесплатный цирк устроил. Подыграйте, пожалуйста. Ты гид, остальные — туристы. Яна, достань доллары и сделай вид, что покупаешь. А потом уйдите, будто бы вы купили, к машине. Я вас догоню.

Девушки принялись рассматривать фигурки, крутить их в руках.

— These figurines were made of wire from days of Peter the Great!

Гриша подумал, что это он уже загнул. Вряд ли во времена Петра была колючая проволока.

— This one. How much?

Яна указала на разноногую собаку.

— Five.

— Too much, — сказала Кристина.

Гриша полуобернулся и краем глаза увидел, что вся семья наблюдает за ним.

— And this one?

— Ten.

— Maybe ten for two?

Гриша кивнул. Кристина достала деньги. Он рассмотрел купюру на свет, и, сложив, убрал в нагрудный карман. Затем неспеша выдернул из блокнота два чистых листика, завернул в них фигурки и вручил девушкам.

— Good luck!

Гриша помахал рукой вслед друзьям. Снова подошли дети.

— Ну, чего смотрите, будете покупать? Вот, например, колючий жираф. Очень приятный, или вот крокодил.

— А это кто? — спросил старший.

— Это? Кентавр. Наполовину человек, наполовину лошадь.

— Знаю, — сказал старший.

— Нравится?

Младший кивнул головой.

— Ну вот что, торговля сегодня что-то плохо идет. Поэтому я вам их просто дарю. — Гриша сделал широкий жест рукой. — Сегодня такой чудесный день, вишня цветет, работать лень. Пойду погуляю...

Гриша бросил в мешок блокнот и ручку, затем, слегка поклонившись застывшим от неожиданного подарка детям, направился, загребая ногами песок, вдоль берега. Роль нужно было выдержать до конца, и он вернулся к машине, сделав довольно большой крюк.

— Ну что, продавец, — спросил Майкл, — удивил народ?

— Как мог. Кристина, спасибо, — он протянул Кристине деньги.

— Эта собачка красивая, — сказала Яна, — такой панк. Я оставлю на память.

— Как вам форт? Не арестовали?

— Круто! Там вообще никого не было. Одни только мы...

Таракашка Кэт успела нагреться на солнце и собрать неизвестно откуда добрую дюжину мух, но их быстро выдуло встречным ветром.

С той весны прошло лет восемь, но в Гришином доме мало что изменилось. Разве что Петька вырос и перебрался в Петербург. Но

по весне все так же — птицы и гости. Вечером гости сидят на большой кухне, где работает телевизор, эдакий городской камин.

Переключать программы лень, и весь вечер кухню озаряет, озвучивает канал «Культура». Фильм про Ломоносова сменяется интервью с каким-то молодым художником. Гриша разговаривает с Линой, наливает чай и телевизор почти не смотрит, но вдруг его взгляд цепляет на экране нечто знакомое — фигурку из колючей проволоки, несколько лет тому назад согнутую им на пляже.

— Это очень значимый для меня подарок, — комментирует молодой художник, — и связан он с одной мистической историей. Однажды, когда мы жили в Кронштадте, я гулял с родителями и братом по берегу залива и увидел босого нищего старика, который сидел возле форта на каком-то бревне, сгибал из ржавой колючей проволоки различных животных и расставлял их перед собой на плоском камне. Он сидел давно, может быть, целую вечность, его седые волосы развеивал ветер, а пальцы его ног успело занести песком. Форт был почти заброшен и железа всякого там было навалом.

Я подошел к нему и долго смотрел на то, как в его руках неживой, ржавый, предназначенный для убийства металл становился птицами, лошадьми, кошками и собаками. Я что-то спросил, типа, для кого эти фигуры, зачем... А он ответил как бы невпопад: «Вон, деревья цветут...» И показал мне на форт, заросший деревьями. Причем это была весна, отцветала вишня, и ветер носил над заливом лепестки. И я вдруг увидел... Вы понимаете, о чем я говорю? Раньше я лишь смотрел, а тут вдруг увидел! Это было какое-то потрясение. А когда я очнулся, старик исчез. Остался камень, и на камне его маленький железный зоопарк. Я взял одну из фигурок и побежал за родителями. Так вот с этого момента я и стал художником...

НАУЧИТЬ ЕГО СМЕЯТЬСЯ

Это было время предчувствия наводнения. Осеннее время, когда сплошная масса из листьев и капель воды летела

в лица и ветровые стекла автомашин, когда ветер кричал на все лады в проводах и кронах деревьев, а железные листы поднимались с крыш, как испуганные птицы. Юра провожал тебя домой, вы хотели погулять, но вместо прогулки просидели в эстонкой кафешке на берегу Смоленки: сто грамм вина на двоих, кофе, пирожные, шторы на окнах и над баром, белые в красный горошек, барменша в таком же передничке, голубоглазая блондинка, словно сошедшая с этикетки сыра Виола (так ты сказала, и Юра подтвердил, да, очень похожа, только та, на этикетке, мне нравилась больше. Давно, в детстве, я был просто влюблен в нее, а эта никаких чувств не вызывает. Хотя и та и другая — типичные эстонки). И ты спросила:

— Разве природные эстонки голубоглазы и светловолосы?

— Я так думал, — ответил он, — давно в детстве, а потом где-то прочел, что не эстонцы, а, наоборот, славяне голубоглазы и светловолосы... Как и евреи, — вдруг добавил он, — и шведы, и даже грузины, мегрелы. Но для меня и эстонцы тоже.

— А я? — ты улыбнулась.

— В тебе есть татарская кровь, — сказал он, — да чья бы кровь ни была, ты мне нравишься больше той эстонки с этикетки. Или финки.

— Такая, как есть.

А за окнами, где растения с темно-зелеными крупными глянцевыми листьями, постепенно сгущалась тьма: сумеречное состояние погоды соединялось с приходом времени настоящих сумерек.

— В такое время мне страшнее всего. — Ты вдруг почувствовала холод. — Когда ветер, и вещи кажутся ненастоящими, нет, настоящими, но совсем другими, словно показывают свое второе жуткое лицо.

Вместо ответа он взял твои руки в свои. Холодные... — Он начал дышать на твои пальцы. Холод постепенно сменили волны тепла, они приходили откуда-то снизу, от земли. И буря за окнами отступила, превратившись в фильм, который показывали на больших стеклянных экранах, совершенно перестав тебя пугать.

Потом он провожал тебя по Малому проспекту, блестящему в свете фонарей, и ты держала руку в его руке в его кармане, а другой приходилось стягивать капюшон куртки.

— А так ли ты хочешь домой? — спросил он тебя, — пойдём ко мне.

Ты промолчала.

Вдруг где-то совсем рядом, продолжая гул очередного порыва ветра, раздался треск. Темная тень метнулась сверху к земле. Это было дерево: старый, в три человеческих объёма, тополь упал, перегородив дорогу в нескольких шагах перед вами. В первый момент ты не испугалась, страх пришел чуть позже, одновременно с визгом тормозов, глухими ударами, звоном стекла, треском электрических разрядов — один провод, словно схваченная мангустом змея некоторое время хлестал по земле и машинам, высекая искры. А затем погасли фонари и вспыхнули красным светом троллейбусные провода, придавая проспекту праздничный новогодний вид. Но и они светили недолго — видимо, в конце концов сработал предохранитель. Неожиданно ты ощутила, что Юры рядом нет, он отреагировал быстрее и уже находился возле врезавшейся в дерево машины. Дерево выломало ограду и перекрыло обе полосы. Перешагивая через уже мертвые провода и обломки веток, ты подобралась к машине. Там суеилось несколько человек.

— Пойдем, — сказал Юра, — мы уже не нужны. Все целы, все в порядке.

Вы вышли на чистый асфальт, затем на противоположную сторону проспекта. Объяснений не требовалось.

Ты молчала и послушно шла за ним покупать вино хлеб и сыр, «Чего ты хочешь?» — спрашивал он, а в ответ ты лишь пожимала плечами, ты действительно не знала, чего хотела. «Дерево упало — произнесла ты про себя, словно бы это сказал тебе он, — домой дороги не будет». Теперь, полностью доверившись ему, ты чувствовала себя защищенной от всех бед. Если деревья и падали, то не на тебя, все ямы, все ловушки оставались в стороне, все катастрофы проходили мимо, ты снова купалась в теплом

всепоглощающем море безопасности, невзирая на дождь, ветер и тьму вокруг.

А он уже вел тебя по долгой темной лестнице, и чем выше вы поднимались, тем сильнее гудел ветер за окном.

— Очень удобно, — говорил он, и не видел, что ты во тьме лишь глупо улыбаешься, — занимать дома рядом со стройкой, потому что когда ставят высотный кран и его стрела вынуждена пролетать над крышей, верхний этаж расселяют. Так мы здесь поселились и живем уже несколько лет, на мансарде. Не так много в Питере осталось домов, над которыми работают краны.

Слово «мы», произнесенное им, показалось вдруг неприятным и резким, ты оказывалась вне этого мы, оно отталкивало, и вместо того чтобы сблизать вас, разъединяло.

— Кто это «мы»? — спросила ты, пытаясь остановить убегающую воду его речи.

— Странствующие волшебники.

Ответ, точнее серьезная интонация в голосе Юры, удивила тебя.

— Что?

— Мы совершаем чудеса. — сказал он спокойно.

И от этих ровных холодных слов, сказанных совершенно обыденным тоном, желание, возникшее в тебе еще по дороге, вдруг исчезло. И тот сценарий, который ты уже мысленно проиграла несколько раз, сценарий, начинающийся страстными поцелуями в коридоре, и кончающийся поздним утренним пробуждением в теплой постели, в мире, далеком от дождя и ветра за окном, сценарий, воплощение которого естественно предполагалось тобой, и главную роль ты ждала с нетерпением, вдруг стал неинтересен. Последние ступени ты прошла по инерции, внезапно ошеломленная тем, что ничего не знаешь об этом человеке. Вас познакомила твоя подружка год назад, три или четыре раза вы виделись в разных компаниях, и тогда ты подумала о нем, как о ком-то совершенно недоступном, ибо зачем ему такие, как ты, обычные неинтересные, а он художник, творческая личность, и вдруг он позвонил тебе и предложил встретиться.

«Дерево упало, — снова подумала ты, — дороги назад уже нет».

— Сначала мы устроим трапезу, выпьем вина, а потом я тебя попрошу кое в чем нам помочь. Ладно.

— В чем? — спросила ты тихо, одними губами. Он не расслышал. Или сделал вид, что не слышит.

— Ну вот мы и пришли. — сказал он на верхней площадке. Свет из окна падал на потолок, и ты увидела квадратное темное отверстие, к нему вела железная лестница. Но Юра потянул тебя направо: там оказалась дверь, столь плотно скрытая тьмой, что ты поначалу ее не заметила. Дверь была незаперта, и за ней начинался длинный пустой коридор, в его дальнем конце мерцал свет. Свет был теплым, да и сам воздух в коридоре был полон живых жилых запахов.

Холодная лестница осталась позади, страх исчез, и ты снова доверяла своему спутнику. Пропало и раздражение. «Как часто у меня меняется настроение, — подумала ты, — словно кто-то изнутри раскачивает большой маятник».

Из коридора вы прошли в комнату: высокий потолок, никакой мебели, светлые обои с крупным рисунком и темное окно посреди противоположной стены. В центре, на сдвинутых буквой «Г» матрасах перед горячей свечой сидели два человека. Один в длинном свитере, его борода и волосы сливались с воротником, тень закрывала лицо, так что ты видела лишь большие глаза — две свечи в двух выпуклых зеркалах.

Лицо другого, круглое, гладко выбритое, наоборот, было почти полностью свободно от теней. Он улыбался. Ты была уверена — он улыбается именно тебе.

— Ну вот, все в сборе. Знакомьтесь. — Юра выдвинул тебя вперед и положил ладони на твои плечи. — Это Вера. Наконец я ее нашел.

Они назвали свои имена: два звуковых всплеска на фоне бури за окном, но ты, полностью поглощенная тем, что произнес Юра, их не запомнила.

— Почему? — спросила ты.

— Потому что нам нужна Вера. — спокойно ответил круглолицый. — Без Веры трудно что либо сделать.

«Он шутит или всерьез? Чуть какая..». Тебе снова стало страшно, тебе вдруг показалось, что все, даже падение дерева было подстроено специально чтобы привести тебя сюда.

— Не бойся, — Юра почувствовал твой испуг, — от тебя требуется одно. Некоторое время побыть с нами.

И теперь ты сидела в одном кругу с ними, пила из невесты откуда взявшейся железной кружки вино и закусывала хлебом с сыром. Они говорили о каких-то укосинах и перетяжках, а тебя подмывало вскочить, разорвать тенями этот тихий свет, стать ветром, дождем, ты даже представила как закричишь: «Да что это за наваждение! Объясните мне, наконец, что вы хотите сделать!»

— Я проверил кран, — сказал круглолицый, — с ним проблем не будет.

Юра кивнул.

— Что вы хотите сделать? — спросила ты шепотом, но тебе показалось, что услышали все. — Я же ничего не знаю.

— Милая, — Юра погладил тебя по руке, — ты скоро все увидишь. Мы просто хотим научить его смеяться. Ну что? — он разлил вино по кружкам и поднял свою.

— Пожелай нам счастливого пути. — сказал круглолицый.

— Счастливого пути, — прошептала ты. И перевела взгляд на Юру. Тот снова взял твою руку.

Ты вдруг поняла, что ничего уже не хочешь спрашивать, все разъяснится само собой.

Вы поднялись на крышу, где ветер, и мелкая пронизывающая дождевая пыль и всполохи огня внизу, видимо, приехала аварийная служба, чтобы убрать с проспекта дерево, и стрела башенного крана, нависающая над домом словно клюв огромной птицы.

— Какой сильный ветер, — сказала ты, прислонившись губами к Юриному уху, — даже кран качается.

— У Хлебникова есть такая поэма о конце света, — Юра повернулся к тебе, — называется «Журавль».

Ты прижалась к нему и спрятала голову у него на груди.

— Когда было наводнение, — сказал он, — я сам видел, как затопило почти весь проспект. Возле нашего дома мужик плавал на резиновой лодке. Это было в моем детстве. А теперь дамба. И опасность в другом. Он указал глазами вверх. Если мы не научим его смеяться, дождь не перестанет. Это я знаю. Я недавно разговаривал с подземным человеком, в метро, и он сообщил мне точную длину лестницы к нему. Мы сделали такую лестницу и сегодня ее поставим.

— Бригадир, — услышала ты за спиной голос длинноволосого, — приготовься. Ты обернулась и увидела, как он подает Юре белые рабочие рукавицы.

«Они все сошли с ума, — подумала ты, — и это сумасшествие затягивает и меня. Но я, я ведь почему-то верю ему. Проснись. Вера, Верунчик, проснись», — уговаривала ты себя, а тем временем в будке крана загорелся электрический свет, и маленькая темная фигурка махнула рукой.

Стрела медленно и почти бесшумно — ветер заглушал всякий звук, поползла в сторону крыши. «Стой, пожалуйста, здесь», — прошептал Юра тебе на ухо и подбежал к длинноволосому.

Они поймали крюк. И закрепили его за что-то лежащее на крыше. И стрела стала подниматься в небо. Она тащила за собой длинную металлическую лестницу, точнее треногу, одна стойка которой была лестницей, а две других — обычные трубы. Конструкция довольно быстро превратилась в прозрачную, полную ветра и дождевой пыли, пирамиду с вершиной, устремленной в небо.

Две фигуры в блестящих, похожих на крылья плащах перебежали от одной ноги к другой и, громко переговариваясь, закрепляли трубы внизу, затем Юра поднялся наверх, отцепил от предпоследней ступени крюк, и стрела медленно отъехала в сторону.

Он спустился вниз.

— Будем ждать, — сказал он, обращаясь к тебе, — не замерзла?

Вскоре они уже вчетвером стояли возле лестницы и смотрели на быстро бегущие низкие облака. Вихрь закручивал поток капель вокруг вершины треноги, и в один из моментов она вдруг исчезла в нем.

— Пора. — сказал Юра. — Не уходи, пожалуйста, пока мы не уйдем. Ну все. Спасибо.

Он поцеловал тебя в губы и начал взбираться по лестнице. А ты смотрела на него и думала, что если этот поцелуй был бы хоть на мгновение дольше, Юра не смог бы так легко и быстро подниматься наверх. За ним на некотором расстоянии следовали его спутники.

То ли их шаги, то ли порыв ветра заставил конструкцию содрогнуться. Ты вдруг всерьез поверила, что это не шутка, не игры сумасшедших художников, и они действительно сейчас уйдут, исчезнут из этого мира.

Ты закрыла глаза, проговорив по себе нечто вроде молитвы: «Помоги, помоги, помоги!» А когда открыла, их не было. Лишь ветер гонял капли вокруг пустого треножника.

Тогда ты вернулась в комнату. Свеча еще горела.

Что-то не позволило тебе задуть ее. Ты тихо, словно боясь кого-то разбудить, защелкнула дверь и спустилась вниз. На проспекте суетились рабочие, автокран растаскивал куски тела упавшего дерева. Повсюду блестела вода. Но дождя не было. Как не было и ветра. И тогда ты посмотрела на небо. Облака расступились, и в образовавшемся окне сияли большие осенние звезды.

РЕВНОСТЬ

Не поскользнься на ледяном мостике,
не уколись о замерзшую траву,
ты проходи, проходи по свету,
по долгим комнатам без края и конца...

Он решил сократить путь дворами и дважды нарывался на протаявшие полосы земли, под которыми, вероятно, проходила теплотрасса. На ботинки налипли черные бесформенные комья.

Даня на ходу притоптывал то одной, то другой ногой, но это не помогало. Так, с земляными гирями на ногах, он добрел до станции метро.

Повсюду стояли карточные телефоны-автоматы, жетонных был один, да и тот не работал. Но не успел Даня повесить молчащую трубку, как к нему подскочил ушлый долговязый парень лет пятнадцати с изъеденным оспой лицом.

— Звонить?

Даня кивнул.

— Вы отдаете мне жетон или даете деньги. А звонок делаете по моей карточке.

Он отдал жетон и «связист», засунув свою карту в автомат, остался за спиной, возле будки. Одним ухом Даня слышал щелчки и треск виртуальных пространств в трубке, а другим — реальное дыхание и покашливание живого приложения к телефону.

Короткие гудки.

— Занято. — сказал он не оборачиваясь, словно разговаривал с аппаратом. — Я буду ждать, пока не дозвонюсь.

За спиной молчание.

Он снова набрал ее номер.

Короткие гудки.

Еще раз.

Только после третьего отбоя, Даня сообразил, что есть кнопка автодозвона.

— Придется подождать, — он нажал кнопку и повернулся к хозяину карточки.

— Ничего-ничего, — ответил тот.

Ждать пришлось недолго — вскоре Даня дозвонился, и она почти сразу взяла трубку.

— Але.

Ее голос накладывался на музыку.

— Але, Ален! — сказал Даня.

— Привет.

Нечто похожее на болеро Равеля заполнило паузу.

— Ален, я хотел бы к тебе зайти.

— Когда?

Даня не понравилась интонация вопроса. Напряжение и одновременно холод. Она — взрослая самостоятельная женщина, дети по выходным у родителей. Она должна быть одна. Это подразумевалось. «Она должна быть мне рада. Почему? Какая чушь!»

— Ален, я здесь неподалеку. На Юзах. Можно, я к тебе зайду?

Он вдруг почувствовал, какой будет ответ.

И уже мысленно сформировал продолжение: «Я тебе не помешаю, я просто хочу тебя видеть».

— Давай встретимся завтра.

— У тебя что ли гости? — спросил он.

— Нет никаких гостей. Я просто устала. И спать хочу.

Даня словно чувствовал присутствие гостей. «Ты свободный и независимый мужчина. Она свободная и независимая женщина! Какая тебе разница, есть у нее кто-то или нет! Она сегодня не хочет, так скажи свое «до свиданья» и повесь трубку». Однако он продолжал настаивать.

— Я все-таки хотел бы встретиться.

— Потерпи до завтра. — в ее голосе чувствовалась насмешка.

«Какое мне дело до всех ее мужчин, бывших до и будущих после», — пытался думать он, но обида оставалась: Даня уже представлял его, сидящего в маленькой кухне напротив Аленки, или она сидела у него на коленях, или они лежали в постели и голос у нее такой сладкий, мягкий мур-мур, довольный, как у кошки, и она сама теплая, мягкая, нежная, потому что она довольна всем: и тем, кто рядом, и тем, чей голос булькает в трубке. Она права: «мы свободные люди, не хочешь — не надо, хочешь, пожалуйста, приходи, я не против, но не сейчас». И посылают тебя не в некое «когда-нибудь», способное стать бесконечным, а в завтра. И потом, может ты сам придумал этого человека, с вытянутым лицом, седого, яйцеголового, ты увидел его на какой-то из Аленкиных фотографий и теперь... Теперь ты ревнуешь, парень, ух, как ты ревнуешь и боишься в этом себе признаться. Даня вдруг услышал за спиной сопение владельца карточки.

— Хорошо, давай завтра.

— Позвони сначала.

«А вот нет... Фигушки».

— Понимаешь, сейчас уже поздно, и я не знаю, где заночую сегодня, — сказал Даня. Обиженная интонация получалась сама собой. Он хотел добавить «может, вообще на улице», но эти слова были бы полной неправдой, потому что Даня уже прекрасно знал, где будет ночевать, и продолжил:

— Сама знаешь, какие автоматы. Если удастся, я позвоню, а если нет, то появлюсь без звонка.

— Только не раньше десяти. Хорошо.

— Хорошо. Тогда пока.

— Пока. Целую.

«И я тебя», — хотел сказать Даня, но обида не дала. Он вдруг совсем не к месту вспомнил собственные долгие рассуждения об этих стандартных, не несущих никакой информации фразах, паролях, ключах, допускающих в разговор или закрывающих его. Например, «Привет, как дела?» «Хорошо», «Ничего», «Отлично», «Плохо», «Никак», — вот наиболее распространенные ответы, свидетельствующие, как правило, не о состоянии дел, а об отношении собеседника к жизни. Или в конце «Целую». Ответ: «Я тоже». Кого целует отвечающий? Самого себя? Но все понимают, что подразумевается под ответом.

Даня пошел к приятелю в мастерскую, находящуюся неподалеку. Аленка не знала никого из его друзей, он не знал ее друзей. Расспрашивать было не принято. Лестница на мансарду, железная дверь.

Он не стал звонить, а просто потянул за ручку. Миха редко запирает дверь. Как и предполагал Даня, она с визгом растворилась, и поток желтого света обрушился на полутемную лестницу. Лампочки горели и в прихожей и на кухне, являющейся прямым продолжением коридора.

— Полная иллюминация, — громко сказал Даня, — Заходи кто хочешь, бери что хочешь!

Ответом ему было лишь мерное «кап-кап» воды из крана. Водяные часы, вечное жидкое время.

— Миха! Мишка, ты дома? — Даня, стянув ботинки, заглянул направо, в комнату, служившую спальней.

В квартире было две комнаты: одна, большая, собственно мастерская, где стоял шкаф, диван, живописный станок, где пахло масляными красками и растворителем, другая, совсем маленькая, метров шесть, вмещала лишь большой пружинный матрас и стеллаж с книгами и лампой. Какие только запахи не впитывали ее стены: от горелого кофе до канабиса и тибетских благовоний. Сейчас оттуда несло винным перегаром.

Миха спал, открыв рот. Большой нейлоновый кокон, из которого торчала голова с клочковатой бородой.

«Пьяный или обдолбанный. — поставил диагноз Даня, — Скорее пьяный. Напиться, вот что мне нужно. И спать так же безмятежно, как этот».

Он прошел в мастерскую и включил свет. В углу комнаты, за станком, возле дальнего окна — мольберт. Посреди — большая консервная банка, полная окурков.

И на диване — плоские ящики с горами тюбиков.

Даня подошел к картине. Затем выглянул в окно. Точно. На холсте был изображен двор и маленький (с высоты пятого этажа) человек, идущий по тропинке. Часть картины была выполнена грубыми мазками, но к тому месту, где человек (а он находился чуть в стороне от центра — Миша не любил симметричные композиции), мазки уменьшались, кристаллы, в которые было заключено пространство, становились все меньше, и человек был прописан с максимально возможной тщательностью. В этой маленькой фигурке Даня узнал самого Миху. Картина завораживала. Он вдруг представил себя там, на улице, внизу: одинокая фигурка в холодном синем колодце среди кристаллических глыб, лишь кое-где подсвеченных теплым желтым светом маленьких окон.

И Даня вдруг почувствовал ничтожность недавних переживаний, ревности, обиды. Он прошел на кухню, совмещенную с коридором, поставил на газовую плиту закопченный, но еще теплый чайник. Затем принялся мыть посуду.

— А... — донеслось из комнаты. — Юлька, ты?

— Нет, это я, Дан.

— Ух... А я, видишь ли, заснул...

— Ну и спи дальше. Я, видишь ли, посуду мою.

Из комнаты выполз лохматый и сонный Миха. Он был как непомерно выросший цыпленок — весь в белых перьях.

Даня рассмеялся.

— Ты что? — Миха зевнул.

— Посмотри на себя.

Миха зашел в мастерскую, к зеркалу.

— Ой. Хе-хе... — донеслось оттуда. — Это спальник Юлькин. Дырявый. Перья летят. Курятник, блин, хе-хе.

— А я переночевать у тебя хочу. Представляешь, ехал к любимой женщине, не пустила.

— Бывает, — сказал Миша спокойно, — ты, это, не запаривайся... Живи на здоровье.

Живи на здоровье! Даня чувствовал себя здесь необыкновенно уютно. «Случись невозможное, — подумал он, — позови она сейчас, я бы все равно не пошел».

— Пили, что ли? — спросил Даня.

— Вчера... Сегодня работал, устал. Вот, картинку нарисовал... Заснул. Устал.

Миха выпил чаю и снова отправился спать, а Даня, прихватив пачку журналов и освободив диван от красок, устроился в мастерской. Это были старые «Вокруг света», спасенные хозяйственным Мишей с помойки: «пусть на чердаке будут, места много». Сказочные теплые страны, где нет этой белой гадости за окном, где сухо и солнечно, где женщины не устают и открывают дверь в любое время.

Утром Даня отправился к ней. Он мог позвонить, но не стал делать крюк до метро и снова искать телефониста с магнитной картой. «А только ли поэтому, — спросил он себя уже в Аленином дворе, — ты, как тот человек из книги про Гантенбайна, снова играешь в свои дурацкие игры? Хочешь уличить ее в неверности или придумать ей неверность? Зачем?»

Алена открыла не сразу. В халате поверх ночной рубашки. С улыбкой на измятом сном лице.

— Ой, это ты. А я еще сплю. Проходи.

Она немного отступила. Даня посмотрел на свою обувь, все еще облепленную остатками черных комьев.

— Я пожалуй сниму их у порога, а потом вымою. Еще вчера где-то вляпался.

— Ой, вчера был такой странный день. Гости, гости. И я была какая-то странная, — сказала она, — всех выперла.

Он кивнул. И босиком прошел в комнату. Неубранная кровать, две подушки... «Две... Ну и что».

— Сама не знаю, почему тебе отказала. Спала одна. Из чувства противоречия, что ли.

«Если это ложь, то эта ложь придумана специально для меня, она ведь в правилах игры, не может же она, например, сказать: «Я провела потрясающую ночь с женщиной и не пригласила тебя, потому что у меня был другой». Да и какое мне дело до этого другого, — мысленно повторил про себя Даня, — все складывается как складывается».

— Я так по тебе соскучилась. — Она прижалась к нему.

Он ответил, прикоснувшись губами к ее губам, полуприкрыв глаза, и вдруг в одно мгновение промелькнули в обратном порядке все события вчерашнего дня: одинокий человек в синем, залитом холодом дворе, телефонная будка, черная, оттаявшая полоса земли.

— Подожди минутку. Я сейчас.

Он бегом вернулся в прихожую, поднял ботинки. Затем прошел в ванну и тщательно вымыл подошвы. Вода в раковине, поначалу темная и мутная, быстро стала прозрачной.

ЧТО ГОВОРIT НЕБО

Костик сидел на кухне. Локти на столе, ладони подпирают голову. Недавно он побрился наголо, и его голова была похожа на большую картофелину.

Вчера он разговаривал об этом с женой.

«У, какой у тебя шишковатый затылок, — сказала она, впервые увидев его бритым, — никогда бы не подумала».

Тогда он посмотрел на свое отражение в зеркале и вспомнил картину некоего голландского художника. Она называлась «Вырезание камней глупости».

«Знаешь, — ответил он, — каждая шишка на голове, так считали в средневековье, признак особых достоинств. Или недостатков. Были специальные анатомические карты, определяющие, что какая шишка значит».

Жена успела уйти на кухню и, похоже, не услышала объяснений.

Теперь жена гостила у своей мамы. Дети были гораздо ближе — в соседней комнате. А он сидел на кухне один. Не совсем один — по стене полз таракан.

«Она бы вскочила с тряпкой и стала давить», — подумал он, но сам не пошевелился.

Таракан постепенно перебрался на календарь с рекламой турфирмы, в которой работала жена. Возле карты Испании он резко повернул в сторону.

«Э, — сказал Костик, — тараканьих погранцов, что ли боишься. Визы нет. Или контрабанда».

Таракан тем временем пересек пляж, соседствующий с картой потоптал загорелые тела девушек и скрылся в щели между календарем и стеной.

«Теперь совсем под землю ушел. Теперь ты вообще непонятно где. — Костик продолжал комментировать его действия, — что находится под Испанией?»

Размышления прервала возня детей за стеной: один бил другого, приговаривая: «Получай, гад! Получай, пидарас!»

«Нет, это не мои дети, да и жена не моя».

Все вдруг показалось ему подменным, ненастоящим. Он встал, собираясь разобраться с детьми. Но те успокоились сами.

Выпить, что ли. В холодильнике оставалось сухое вино. Он вытащил бутылку, зубами выдернул пробку, сплюнул ее на стол. Затем подошел к окну и отхлебнул прямо из горлышка. Уксус.

Малиновый закат висел над крышей соседнего дома. И дом, и закат — тоже ненастоящие. Декорация. Ткнешь пальцем, и небо про-

рвется, начнет расползаться, открывая за собой подлинную пустоту. Можно просто выйти и заползти за край, как этот таракан.

Или там не пустота, а такие же дома и такой же закат. Картина, написанная поверх картины, и так до самого грунта.

Костик продолжал смотреть на горящее малиновым огнем небо, на слоистые узкие облака, и вдруг они сложились в улыбку. Два облака в форме губ. И что удивительно, они начали шевелиться, словно пытались что-то сказать. Он вздрогнул, ибо в этот же момент зазвонил телефон.

Костик снял трубку не отрывая взгляд от заката, от этих странных облаков.

— Костя...

— А. Подожди.

— У тебя странный голос, ты выпил, да?

Небо что-то говорило ему, и если бы не телефон, он услышал бы, что оно говорит.

— Подожди.

Он пытался прочесть по губам.

— Костя, ты покормил детей?

— Да.

— Ты что там делаешь? Можешь отвлечься. Что они делают? Ты уложил детей? — доносилось из трубки. А он стоял, прислонившись лицом к стеклу, и повторял медленные движения небесных губ.

ОХОТНИК

Эти ребята у ларька были чужими. Они смотрели не так. И вели себя не так. Отличия были в неуловимых для обычного человека деталях: обратная сторона взгляда каждого не гладкая, как у своих, а шершавая, с заусенцами, между словами слишком точные, словно заранее выверенные, паузы. Они обсуждали, сколько брать пива, Саня слышал речь и видел разговор их пальцев. «Они не отсюда», — это ощущение

пришло к нему, словно запах. Саня считал себя сторожевым псом, единственным зверем, способным противостоять вторжению. Он ждал с утра, и они оказались первыми. Они брали четверку, и один из них, сгребая бутылки в сумку, задел Саню локтем.

Они ему не нравились. И подлежали ликвидации. Саня отошел в сторону. Еще есть время. Лишь бы они не пошли на квартиру. В садике или в парадняке (Саня не сомневался в своих силах) он их накроет. Ему сегодня везло. Они прошли через садик и расположились на кусках ствола сломанного ураганом тополя. Дерево упало ночью, порвав троллейбусные провода и перегородив проспект. До самого утра под окнами Сани рабочие обрезают ветки и пилили ствол на части. Что-то увезли на грузовиках, а несколько кусков ствола затащили через пролом в ограде обратно в сад. От урагана же к утру остался лишь легкий ветерок. А в небе — почти летнее солнце.

Тополиные обрубки стали скамейками для этой чужой троицы. Саня постепенно подбирался к ним. Он был уже настолько близко, что слышал часть разговора.

— Дело главное в телеге. Гриш, ты, понимаешь, — говорил один, высокий, тощий, с длинным лицом и длинными волосами собранными сзади в хвостик. — Она профессионал. И до этого рисовала разные портреты, пейзажи, вполне традиционные, а потом вдруг...

— За три года до этого, — быстро поправил стоящий рядом маленький, в трехцветной желто-зелено-красной вязаной шапке.

У третьего, Гриши, отличительной чертой была борода с проседью и очки. Одет он был во все черное и напоминал священника.

— И сколько у нее этих мертвых детей?

— Больше тысячи. Она рисовала их на всем, что попадалось под руку. Денег-то не было. На картоне, на клеенке, на простынях. — длинный слегка заикался, — Почему-то она думала, что если нарисует две тысячи, произойдет нечто глобальное. То ли конец света. То ли наоборот, она сможет остановить конец света.

— Да-а, — протянул бородатый, — дела.

— И не успела. — добавил обладатель странной шапки.

— Причем часто дети с открытыми глазами. Но ты понимаешь, нарисовано так, что всякому понятно, они — мертвые.

— Она умерла в дурке, — снова добавил маленький.

Саня уже был совсем близко. Пиво кончалось, бородатый вытащил из сумки вторую бутылку. Его, судя по большим жадным глоткам, мучила жажда.

— Санек! — вдруг раздалось у Сани за спиной.

Только сейчас он понял, что немного не просчитал. Сосредоточившись на чужаках, он оставил тылы без присмотра.

По голосу Саня узнал одного из Петровичей, Петровича Маленького, встающего ни свет ни заря и шакалящего все, что плохо лежит.

— Санек, добавь немного, у тебя ведь сейчас будет.

— Тише, Петрович, — сказал Санек. — Отъябись.

— Как хочешь. Я к тебе...

Ему вдруг стало жалко старика.

— Добавлю, не ссы, — сказал он тихо, — не мешай.

— Я чувствую просто, какая сила от них прет, — продолжал высокий.

— Сила силе рознь. — Бородач усмехнулся. — Впрочем, вы меня давно уже убедили. Пойдем посмотрим их прямо сейчас. И кое-что, может, я отберу для Володи.

— Беда в том, что мы скоро уедем и некому будет эти картины оставить. Найти бы какого душеприказчика, кто бы ими занимался.

«Душеприказчик, блядь. Картины-хуины, — слово «душеприказчик» внутри Сани вызвало волну невнятного раздражения. — Давай, блядь, допивай и сваливай».

Он чувствовал, что разговор вот-вот свернется и они снимутся. Допивать можно и на ходу. Только бы не пошли назад к ларьку.

Стало тихо — то ли они прекратили разговор, то ли само Санино перенапряженное восприятие выключило звук. Он подобрался еще ближе, и они его заметили. По крайней мере, он уловил последнюю фразу сказанную волосатым.

— Да ладно, Рост, оставь человеку. Видишь, ходит кругами, как акула.

Они встали. Бородатый перекинул через плечо уже легкую сумку. Через несколько мгновений Саня положил в рюкзак пер-

вые шесть бутылок. Первый удачный трофей. Он еще раз бросил взгляд в спину чужакам, уже выходящим из садика, затем изогнулся, словно герой вестерна, и выхватил из воображаемой кобуры воображаемый пистолет.

— Тч-тч-тч, — произнес он с довольной улыбкой. Затем закинул рюкзак за спину, и стекло приятно звякнуло.

Три точных выстрела. В Санином сознании они больше не существовали.

ОБЛИКИ ЕГО СУДЬБЫ

«Ты не поймешь, какая каша варится во мне, когда я стою, прислонившись носом к холодному стеклу, и смотрю на остановку. Снаружи я, наверно, смешно выгляжу — белое бесформенное пятно на мокром стекле. Мое дыхание порождает матовый круг, он постепенно разрастается, начинает закрывать обзор. Тогда я перемещаюсь — лицо-улитка медленно ползет по горизонтальной линии, по одному из стекол старого пятиэтажного аквариума.

Остановку наполовину закрывают тополя. К сожалению, они облетают последними. И до самой зимы ржавое железо их листьев цепляет взгляд. Если бы они могли перейти чуть ближе к центру и закрывать, скажем, не остановку, а дом напротив. Тем более, что в его окнах ничего интересного не происходит. Мокрая крыша, красный кирпич.

Капли снаружи моего дома. Капли внутри меня. И почему-то всегда дождь.

«Il pleut dans mon coeur quand il pleut dans ma ville».

Миша оторвался от клавиш и подошел к окну. Он вдруг захотел посмотреть на улицу глазами своего героя. Даже прислонился носом к стеклу.

По тропинке, пересекающей газон от проспекта к забору гаража и далее к его дому, шла женщина. За ней, на расстоянии нескольких шагов, — еще один прохожий в темных брюках

и короткой кожаной куртке, блестящей, как надкрылья жука. И больше никого. Сумерки уже не позволяли разглядеть их лица, детали одежды. Миша видел лишь общую картину: женщина в светлом пальто, вероятно, молодая, ее пытается догнать (или просто торопится по своим делам) мужчина, вероятно, средних лет. «В такую погоду поневоле заспешишь. В непогоду живется быстрее, вода отбивает ритм..». Миша собрался было вернуться к компьютеру и записать пришедшую строчку, но что-то заставило его продолжить наблюдение.

Прохожих вскоре скрыл забор, мертвая зона, где тропинка тянулась между какими-то хозпостройками и гаражом.

«Идеальное место для преступления. Ни с остановки, ни с переулка не видно». И, словно разыгрывая сценарий, возникший в его голове, из-за бетонного угла вынырнул мужик в куртке. Один. Женщины не было. Миша подождал полминуты. «Ну точно, накликал. И мужик явно убегает». Женщина не могла быть галлюцинацией. С высоты четвертого этажа Миша видел ее весьма отчетливо. «Не растворилась же она. Следовательно, она за той частью забора, в мертвой зоне».

Он запахнул халат, накинул сверху куртку, сунул босые ноги в полуботинки и выскочил из квартиры. Даже дверь не стал закрывать на ключ. Он уже представлял тело, лежащее на земле, оглушенное или убитое. «А чем я могу помочь? — рассуждал он, сбегая по лестнице, — пока я иду, кто-нибудь ее нашел и вызывает скорую».

Миша обогнул дом. Когда забор попал в поле зрения, ему показалось, что некий человек заворачивает туда, где должна находиться женщина. «К лучшему. Лишний свидетель не помешает». Он добежал до угла, выскочил в проход. И увидел ее.

Она сидела на корточках посреди тропинки. «Господи, что она делает? Фу ты!» Рядом с ней в такой же позе пристроился похожий на самого Мишу бородатый очкастый мужик. Только через мгновение Миша разглядел — они собирали нечто, рассыпанное по земле.

На чердаке было тепло. Сначала он снял плащ и повесил его на гвоздь, торчащий из деревянной балки. В полутьме плащ был

едва заметен и походил на гигантскую летучую мышь. Сумку и чертежный тубус он попросту положил на круглые керамзитовые камушки, толстый слой которых, видимо с целью теплоизоляции, покрывал весь пол чердака.

Обладатель плаща, сумки и тубуса пытался пододвинуть к маленькому слуховому окошку штукатурные мостки. Они взяли в керамзитовой крупе, и ему приходилось передвигать поочередно то одну, то другую сторону. Он не стал включать электрический свет и довольствовался тем, что падал из маленького треугольничка над головой. Отчетливо различить можно было лишь белые манжеты рубашки. Наконец он придвинул мостки под самое окно и, удостоверившись, что они установлены достаточно прочно, залез наверх. Из окна веяло холодом. Он вернулся, взял сумку и тубус.

Затем уже наверху аккуратно раскрыл его. Вместо чертежей там находилась труба с креплениями и рычажками, напоминающая оружие из фантастических боевиков. Она и была оружием, только не фантастическим, а вполне реальным гранатометом полукустарного изготовления. Мелкий дождь и слабый ветер не могли повлиять на направление полета гранаты, предназначенной для человека в доме, расположенном через переулок. Контора этого человека занимала весь пятый этаж, но окно кабинета находилось как раз напротив крыши и слухового окна. Жалюзи и стекла могли бы помешать снайперу, но не килограммовой болванке, начиненной взрывчаткой.

Наконец, когда труба была наведена на цель и надежно закреплена, хозяин «адской машинки» включил подсоединенный к ней таймер, спустился вниз, надел плащ и направился к выходу. Керамзит зашелестел под ногами, словно пляжная галька.

Она вышла из трамвая и направилась по тропинке, пересекающей газон, к забору, затем вдоль него, потому что дорожка была полностью залита водой. Дождь брызгал в лицо, и, чтобы хоть как-то защититься, она стянула с шеи платок и прикрыла им голову.

— Девушка, у вас что-то падает.

Она обернулась. Сердитый, явно куда-то спешащий дядька лет сорока пяти, обгоняя Светку, указал ей под ноги.

— Ой, спасибо.

На траве и тропинке словно крупные градины лежал жемчуг. Перевязывая платок, она случайно порвала бусы, когда-то подаренные ей Костей. Часть жемчужин осталась на нитке, но большинство лежало на земле. Она присела и принялась собирать их в свой карман. «Хорошо, что еще не совсем темно».

— Вам помочь?

Это уже другой человек и другой голос.

— Да нет, спасибо, я сама.

Однако он присел рядом. Она бросила на него косой взгляд. Черный берет, очки с уменьшающими стеклами, густая борода и усы, скрывающие черты лица.

— Потрясающий жемчуг, — человек протянул ей несколько жемчужин. Готов спорить — натуральный.

— Спасибо. Я сама не знаю, мне мой бывший муж подарил. — Она улыбнулась и посмотрела на него.

«Теперь всякий мужик будет помогать. Она представила себя сидящей в кругу собирателей жемчуга и вспомнила картинку из какой-то детской энциклопедии. Древние люди в поисках пищи». Однако следующий, вынырнувший со стороны переулка, прошествовал мимо, не обратив на них никакого внимания. В темно-синем плаще, аккуратной кепочке, белой рубашке с галстуком и с большой сумкой через плечо — так мог одеваться коммивояжер или баптистский проповедник. «Скорее, торговец, — подумала Света, — проповедник предложил бы услуги, а попутно принялся агитировать».

— Вот, — бородач передал еще горсточку жемчужин.

Следующий прохожий, появившийся почти сразу за «коммивояжером» был прямой его противоположностью. Неряшливый, в восточном халате поверх футболки, в куртке поверх халата, в коротких светло-бежевых вельветовых штанах и полуботинках на босу ногу, он напоминал сумасшедшего ученого из фильмов времен шестидесятых. Всклоченная борода и невообразимое

птичье гнездо на голове дополняли его облик. Несколько мгновений он смотрел на них, затем подошел ближе.

— Помощь нужна?

— Да нет, мы сами справимся, — ответил за нее собиратель жемчуга.

И в этот момент за забором раздался взрыв. Столь сильный, что земля под ногами дрогнула.

Человек в халате отошел на несколько метров, бросил взгляд поверх забора и, пробормотав нечто вроде «Блин... Это моя квартира!», побежал назад.

— Странный тип. — Светкин помощник прервал свое занятие, вышел на газон и посмотрел в сторону дома. — Ого, ничего себе... Смотрите.

В доме на четвертом этаже была разворочена стена, из темного, дымящего пылью проема торчали какие-то вещи, во всех соседних окнах не было стекол.

— Что он, интересно, там делал? — спросил он вслух, ни к кому не обращаясь, — дай бог, чтобы люди не пострадали.

— И что теперь нам делать? — Светка посмотрела на него.

— Ничего. Давайте дособерем ваш жемчуг.

Когда в ее карман перекочевала последняя бусина, она уже знала, что помощника зовут Гриша, и живет он совсем недалеко от нее, и им обоим по дороге мимо дома, в котором произошел взрыв.

На углу дома стояло несколько человек. Один из них был в милицмейской форме. В его задачу по-видимому входило не подпускать любопытных к куче мусора, вывалившейся из проема.

— Обойдите там.

Он указал пальцем на тополя и соседний дом из красного кирпича, в котором, судя по осколкам, блестящим в свете уже включенных фонарей, тоже пострадали стекла.

Они уже миновали место происшествия, как из-под их ног отскочил и поскакал в сторону, к стене, черный ком. Светка вздрогнула и инстинктивно прижалась к Грише.

— Не бойтесь, это ворона. Наверное, взрывом оглушило.

Он подошел ближе, птица снова отлетела и упала в нишу, ведущую в полуподвал. Через несколько мгновений она была в Гришных руках. Он принялся рассматривать птицу в свете фонаря.

— Не понимаю. Вроде цела. Но если ее так оставить, сдохнет. Или кошки сожрут.

— Может, мне ее взять. Правда, у нас и клетки нет.

— Возьмите. А с клеткой я вам помогу. Что-нибудь придумаем.

— Какая она большая.

— Только я ошибся. Это не ворона. Это галка, — сказал Гриша. — я донесу ее до вашего дома.

— Меня, кстати, в школе Галкой звали. Фамилия Галкина.

«На кухне у нее висят тяжелые темно-синие шторы. Дым и пыль оседают, пропитывают их, и от окон пахнет тем, что давно ушло во вчера: табаком, канабисом, подгоревшими блинами. Сегодня утром она пьет кофе, и шторы будут хранить этот запах несколько дней.

Сохраняя запах, шторы тормозят ее время, и, чтобы избавиться от прошлого, она их часто стирает. Сквозь круглое стеклянное окошко можно увидеть, как они, словно синие рыбы, то появляются, то исчезают в мыльном водовороте».

Миша подходит к окну и отодвигает одну из штор. Дворколодец, ни тополей, ни трамвайной остановки. Вместо Брейгеля — прогулка заключенных Ван-Гога. Только без заключенных. Тоже неплохо. Вот уже неделю он живет у подружки, не подозревая о необычной способности своей собственной судьбы — принимать самые причудливые и красивые облики: от птицы, случайно оказавшейся на пути смертоносной гранаты, до крупных жемчужин, рассыпанных по земле.

ИГРА

Стекла его очков были запачканы какой-то дрянью. Жирные белые капли с внутренней стороны. И плюс к этому — резь в глазах,

словно по ним долго терли шкуркой. Гриша уже предчувствовал головную боль, она часто начиналась с рези и пятен на очках.

От нее могла спасти таблетка анальгетика, но Гриша, как назло, надел «парадный» костюм, а пенталгин оставил в кармане куртки. Поэтому он не стал втискиваться в трамвай, а пошел пешком, рассчитывая купить лекарство по дороге в какой-нибудь из аптек.

Город вокруг был сродни грязи на стеклах: желтое, маслянистое, заляпанное солнцем болото бесконечных рядов Апрашки-Гостинки. Впрочем, с точки зрения Гриши, его темно-коричневый, почти черный, длиннополый костюм вполне соответствовал обстановке. В этой неудобной, сковывающей движения одежде, он ощущал себя неким конторским служащим, винтиком одного из бесчисленного множества механизмов, вырабатывающих липкое многоликое нечто-ничто.

Он купил таблетки в аптеке на углу, напротив Гостиного, затем по широкому и потому менее душному Невскому добрался до «Борея», клубного кафе, в подвальной прохладе которого можно было спокойно посидеть, съесть и запить лекарство холодным соком или чаем. Там ждал Гришу собрат по кисти, Миха, с бутылкой вина, новыми идеями и старыми разговорами.

В «Борее» болото выпустило Гришу, точнее, вернуло его в себя самого, он плюхнулся рядом с Михай и уже через несколько минут был в состоянии пить вино, обсуждать последние «деловые» новости (они с Михай работали на одно издательство) и даже шутить. Кафе постепенно заполнилось народом, пустая бутылка перекечевала под стол, ее сменила другая, водочная, вместе с бутылкой сменился и Гришин собеседник: Миха, человек дела, умчался в свою мастерскую, а места напротив Гриши заняли старинный приятель по институту Леня, ставший довольно известным театральным художником, и его очередная приятельница. Неестественно возбужденная и тощая, с короткими, крашеными в ярко-красный цвет волосами, с толстым слоем макияжа на лице, от которого острые черты становились еще острее, она не то чтобы раздражала Гришу, но вносила в его «мягкое тихое сидение за стаканом вина» некоторый дискомфорт. То же касалось и бутылки. Гриша совсем

не хотел водки и потому, когда Леня начал разливать, накрыл рюмку рукой.

— Я лучше чаю, — сказал Гриша.

— Вы совсем не пьете водки? — спросила девица.

— Совсем. Я пью только красное вино, — ответил он, протирая стекла очков.

— А вы, случайно, не имеете отношения к... — она на мгновение запнулась, — вы, случайно, не священник?

Ее неожиданный вопрос оживил Гришу. Для него эта серьезно произнесенная фраза была приглашением. Приглашением к игре. Мир предлагал ему примерить на себя весьма интересную маску. Тем более что Гриша уже знал свой первый ход: совсем недавно, в гостях у Никодима, при большом стечении вина и людей, происходил разговор, начавшийся с осуждения тоталитарных сект, а закончившийся рождением дзен-православной эфиопской церкви и раздачей титулов и званий. Кто-то в одно мгновение стал пророком, кто-то епископом, кто-то, естественно, отступником и еретиком. Присутствующих за столом женщин записали в святые — ведь в этом мире все свято. Гриша, видимо благодаря большой, уже начинающей сесть бороде, стал патриархом. Наутро все новоявленные епископы, пророки, попы, святые и изгои, совместно опохмелившись, забыли о своем служении в новой конфессии и занялись обычными мирскими делами. Но теперь Гриша вспомнил.

— Ну, в каком-то смысле даже больше. — Гриша надел очки и откинулся на спинку стула. — Я патриарх.

— Патриарх? — переспросила девица.

Гриша уже вошел в роль.

— Ну да. Патриарх дзен-православной эфиопской церкви.

— Чего-чего? — Она явно воспринимала «телегу» всерьез. — Эфиопской, это негры, что ли?

— Ну, — сказал Гриша и погладил рукой бороду, — негры тоже есть. Но, в основном, белые.

— А почему тогда эфиопской? — не унималась Ленькина подружка.

— Дело в том, что основатель нашей церкви, Никодим, жил в Эфиопии, и первый храм возник там. Теперь церковь в России, а название осталось.

— И у вас есть помещение?

— Не помещение, дочь моя, — серьезным назидательным голосом произнес Гриша, — а храм.

— И туда можно зайти?

— Ну, если вы станете членом нашей общины, вы узрите его. Леня отвернулся. Он готов был лопнуть от смеха.

— А как... — девица замялась, — это?

— Условия вступления у нас довольно жесткие. Прежде всего... — Гриша сделал паузу, пытаясь придумать какие-нибудь сверхжесткие условия, — прежде всего вы должны отказаться от собственности. Если у вас есть машина или квартира, вы отдадите ее церкви. Помните слова о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай? Благодать и царствие небесное так просто не получить.

— И что, отдают?

— Отдают, еще как, — сказал Гриша и добавил: — и свое и даже чужое. Вот, Леонид, например, уже предоставил нашей общине свою квартиру.

Иронии в его словах она не услышала.

— Я не понимаю, — уже раздраженно произнесла она, — куда вы деваете все эти деньги?

— А на что нам существовать? Аренда помещения, оплата труда священников, командировки. В ту же Эфиопию.

Леню трясло от смеха.

— И это все за счет поверивших вам людей?! Вы обманщики! Леня, неужели ты веришь ему. Ты что, действительно отдал им свою квартиру? Они же обманывают!

— Мы насильно не зовем, — ответил за Леню Гриша.

— Все вы так говорите! Сколько душ вы уже совратили? Ленечка, давай уйдем. Я не могу находиться рядом с этим человеком.

Леня улыбался. Писатели, пьющие за соседним столиком и именуемые одним Гришиным знакомым «рыцари ночи», заинтересованно смотрели в их сторону.

— Света, он шутит, он вообще-то художник. — Леня принялся успокаивать разбушевавшуюся подружку.

— Знаю, как он шутит! Он с людьми шутит! Сколько людей вы обманули?!

Гриша снова почесал бороду.

— Ну, пока одного человека. Извини, Света, не сердись. Я действительно пошутил. Никакой я не священник, тем более не патриарх.

Она не слушала.

— Ленечка, я хочу уйти.

— Светка, ты слышишь! — Леня встряхнул ее за плечи. — Ты что не поняла, он пошутил. Он не священник, художник. Вместе со мной учился. Книжный график.

— График?

Гриша кивнул.

— Книжный. Могу даже книжки показать.

— Ну вас с вашими шуточками. — Света встала. — Леня, где здесь туалет?

— Вот, обидел девушку, — сказал Гриша, обращаясь к «рыцарям ночи», — а ведь не хотел.

Впрочем, обиды вскоре забылись, писательский столик присоединился к их столу, водка пошла по кругу, а Гриша отправился домой.

В вагоне метро пустовало лишь одно место — рядом с грузным, неряшливо одетым человеком. Он сидел возле двери, запрокинув голову на спинку сиденья и полуоткрыв рот. Даже Гриша, выпивший в течение вечера около бутылки вина, уловил запах перегара.

Стоило опуститься на сиденье, как сосед проснулся. Гриша не смотрел на него, он почувствовал это по шелесту, чмоканию, бормотанию.

«Сейчас заговорит».

Гриша ошибся на полминуты. Сосед перестал издавать звуки и некоторое время молчал, видимо, разглядывая, кто же сел рядом. Наконец он хрипло выдал возле самого Гришиного уха.

— Отец, эхр.

Люди напротив встали. Теперь Гриша видел свое отражение в противоположном окне вагона. И отражение соседа, повернувшегося к нему лицом.

— Отец, можно я приду к тебе в храм?

Гриша был настолько ошеломлен, что не мог произнести ни одного слова. Мир продолжал играть с ним в игру, о которой он уже почти забыл.

Толстяк потянул его за рукав.

— Отец, ты слышишь?

— У меня нет храма, — стараясь не смотреть в лицо соседа, ответил Гриша. — Я не священник.

— Не надо, не обманывай меня. Если я хочу покаяться обманывать нельзя. Понимаешь?

Гриша кивнул.

— У меня дочь уехала. В Швецию. Понимаешь? Мне надо покаяться. Отец, где ты служишь? Скажи, и я приду.

— Я нигде не служу, — тихо сказал Гриша.

— Не обманывай меня, отец, я по глазам вижу. Ты просто не хочешь. Я тебе противен. Я грешен. Но нельзя отказывать мне в покаянии. Это единственное, что у меня осталось. У меня дочь уехала. Понимаешь?

— Как же я могу исповедовать, если сам грешен, — серьезно сказал Гриша, — и может, поболее твоего.

— Ты можешь. Я это по глазам вижу. Где твой храм, и я приду.

Дальнейшая фраза появилась сама собой. Гриша произнес ее, не прикладывая никаких мысленных усилий.

— У меня пока нет храма. Но когда я его построю, ты узнаешь и придешь. Хорошо?

Поезд начал тормозить, вынырнул из темноты тоннеля на искусственный свет станции.

— Ну смотри! Я обязательно приду, — неожиданно трезвым голосом произнес сосед.

— Поезд прибыл на конечную станцию Старая Деревня. Просим пассажиров не забывать свои вещи в вагонах электропоездов.

— Приехали, — сказал Гриша, — до встречи в храме.

Он встал и, не дожидаясь ответа, быстро вышел из вагона. «Странные люди ездят в метро. Совсем недавно Юрик рассказывал о встрече с «подземным человеком», который так же, в вагоне, сообщил ему точную длину лестницы на небо. Теперь этот. Почему?» Он уже понимал, что происходит нечто, коренным образом переворачивающее его жизнь. Не внешнюю, а внутреннюю, глубинную фактуру. Дома, вечером, лежа в постели, он продолжал думать об этом. «Вот и стоишь перед открытой дверью, не войти в которую невозможно, — разговаривал он сам с собой, словно писал дневник, — мир необратимо изменяется, и неважно, как мы называем эти изменения: «Конец Света», или «Конец Юга», или просто «Новый Период», важно, что изменения уже начались и не я один их ощущаю». Он вспомнил, как друзья показывали ему работы одной женщины, недавно умершей в дурдоме. Они были выполнены в разной технике, от живописи маслом до вышивки, и на всех были изображены дети, разные младенцы. Их объединяло еще одно — всякому смотрящему на картины было очевидно — эти младенцы мертвы. И те, что с открытыми глазами, и те, у которых глаза закрыты. От картин веяло такой тяжелой силой, что Гриша, один раз посмотрев, больше к ним не прикасался. Но, как и обещал друзьям, договорился о выставке в одной из знакомых галерей. Картин было много — за последние два месяца до смерти художница одержимо, делая перерывы лишь на еду и на сон, рисовала, рисовала на всех окружающих ее предметах: на стенах, на кусках картона, на столовой клеенке, на простынях. Она говорила, что если нарисует две тысячи этих детей, то спасет себя и весь мир вокруг. «Успела ли она?» Засыпая, Гриша снова видел ее картины и ее саму, маленькую женщину, рисующую на стенах в пустой полутемной комнате.

Ночью ему снилось: вместе с какими-то людьми в разноцветных ярких одеждах он поднимается на холм, к полуразрушенной белой церкви без купола. Издали она выглядит небольшой, но внутри становится ясно, что она гораздо больше всех когда-либо виденных Гришей храмов. Ни алтаря, ни иконостаса, ничего, кроме стен с размытыми следами фресок, неба над головой и гладкого, серого с голубым отливом каменного монолита под ногами.

Все рассказываются на полу, образуя цветной человеческий круг в центре храма. Далее перед каждым невесть откуда появляется горка белого, невесомого, похожего на тополиный, пуха. По ритуалу следует сгонять пух к центру. Это нетрудно: достаточно сделать легкое движение ладонью, и он летит, повинувшись даже не руке, а ветру, который она создает. И когда весь пух собирается в центре, и все застывают в ожидании, подняв лица к небу, Гриша чувствует: сейчас должно произойти то, чего он подсознательно ждал уже много лет, к чему долго шел, ради чего он играл во все свои игры.

И вот там, где когда-то был купол, появляется большая птица, журавль. Некоторое время на фоне неба он кажется темным, но внизу видно: он ослепительно белый, такой же белый, как пух под его ногами.

Опустившись в центр круга, он танцует: пух взлетает, вторя движениям, образуя причудливые фигуры, они разрастаются, и видно, что их тела состоят из множества звезд, а они — сам космос, за которым нет ничего, кроме большой грациозной птицы и ее танца, наполняющего жизнью все времена и пространства.

ДЕВЯТЫЙ

Я наконец нашел последний, девятый рассказ. Но на самом деле он ничего не завершает. Если бы он действительно завершал, то мое повествование обрело бы собственную жизнь и улетело с компьютера, подобно дракону, нарисованному одним древнекитайским художником. Однако, файл wts.doc (что говорит небо) остается в винчестере без всяких видимых изменений. Во всех девяти текстах, как и между ними, еще много пустых мест. И «Девятый» лишь в незначительной степени заполняет одно из них.

Гриша шел к метро мимо длинного ряда торговцев и ларьков. В одном за стеклами дымил пышечный аппарат. «Раньше пышечные аппараты были другие», — он вспомнил пышечную непода-

леку от Василеостровской: кафельные стены, столики, похожие на перезревшие поганки с плоскими шляпками и одной ногой, плюс некое чудовище из стекла и железа, которое дышит горячим паром и выплевывает на алюминиевый поднос желтые пухлые колечки. «Раньше пышки посыпали не сахаром, а тончайшей сахарной пудрой...» — произнес он про себя и, почувствовав сладкий вкус на губах, подумал, что слово «раньше» последние годы все чаще входит в его речь. Он представил это «раньше» в виде темной большой горы за спиной. Можно любоваться деревьями на склоне, можно слушать шум ручья и шелест листьев, но жить там уже нельзя, обратного пути нет.

Гриша заглянул в окошко, пытаясь рассмотреть агрегат, производящий пышки. Прямоугольной формы никелированная коробка, заполненная горячим маслом. Рядом — небольшой квадратный ящик с воронкой внизу. И полный кондитерских запахов поток тепла из окошка.

— Что вы хотите? — спросила продавщица. Девушка с ренуаровской картины — только более очерченная, упругая, белый халат на голое тело — так что видны линии бюстгальтера и трусиков (внутри ларька очень жарко), и голос свежий, звонкий, и что она делает в этом мире, в этой серой слякотной каше, где ларьки, дым, люди, ведь ее истинное место — в неторопливом, летнем, залитом солнцем пригороде. А дом ее у подножия горы, оставшейся за спиной.

Неожиданно для себя самого Гриша попросил три пышки и чай. Затем, с бумажной тарелкой в одной руке и пластиковым стаканом в другой, направился к столикам, плотно прижавшись друг к другу, словно загнанным каким-то неведомым пастухом столов в щель между ларьками, как в стойло.

Там было всего лишь три человека: две школьницы да бомжеватого вида мужик с книгой в руках. Школьницы щебетали и ели пышки, а мужик стоял прислонившись спиной к металлической оградке и смотрел куда-то вверх страниц. Грише показалось, что в поле зрения мужика нет ничего, кроме ларьков, торгующих пивом, людей возле них и пустых бутылок, которые могут оставить эти люди.

Гриша встал за столик профилем к бомжу и лицом к школьницам. «Туфли на платформе, ноги в черных колготках, короткие юбки, цветные кофточки — тоже обительницы прошлых мест. Чем старше становлюсь, тем чаще цепляюсь взглядом, причем он уже не раздевающий и не оценивающий, за ним нет никаких сладострастных фантазий, лишь мостик для перехода в память, в прошлое — я для них дяденька, а не свой парень, и языки наши настолько разные, что даже если я заговорю, мы не пойдем друг друга. Вот бомж, с ним возможен разговор на одном языке, но мне не хочется беседовать».

Девочки доели пышки и ушли, мужик перестал следить за ларьками и уткнулся в книгу, а Гришино внимание переместилось на ос и воробьев, что крутились вокруг оставленной школьницами тарелки. Воробьи, посчитав Гришу безопасным и почти неодушевленным объектом, вскоре переместились и на его столик. «Если бы не осталось крошек, стали бы воробьи клевать ос?» — спросил себя Гриша. Пока еды было достаточно и для тех, и для других. Один воробей, окончательно осмелев, запрыгнул на Гришину тарелку и покосился на него круглым, похожим на бусинку, глазом.

«Деду надо принести апельсины». Гриша явственно представил на белом больничном подоконнике оранжевые шары. Так было, когда он сам лежал в больнице.

А что стоит у старика на подоконнике? стакан с чаем? Деду сделали сложную операцию на сосудах, и, несмотря на приличный возраст, он быстро поправлялся. Гриша улыбнулся, вспомнив разговор с дедом, только что возвратившимся из наркотического небытия. Это было две недели назад, старик тогда и руками толком пошевелить не мог, но курить потребовал незамедлительно. Следуя указаниям «семейного совета» Гриша попытался возражать:

— Тебе врачи запретили.

— Ты знаешь, что считают настоящие врачи, — дед говорил ровным голосом, но в глубине чувствовалась ирония, — если человек курил всю жизнь, то отсутствие никотина в крови может сильно пошатнуть его здоровье.

Гриша открыл ящик тумбочки. Сигарет не было.

— Я тоже так считаю. Но тебе запретили курить, и мне поручено не давать.

— Тогда я сам возьму. А ведь мне ходить нельзя. Швы разойдутся, и все...

— Ладно, — сказал Гриша, — не надо шантажировать. Но в тумбочке нет сигарет.

— Посмотри у соседа, — старик скосил глаза в сторону соседней койки.

Дед лежал в двухместной палате, по одну сторону от него — тумбочка, стул, на котором сидел Гриша, большое окно и дверь на лоджию, с другой тумбочка и пустая койка — пока сосед находился на обследовании, его на выходные отпускали домой.

— Это уже воровство, — улыбнулся Гриша.

— Сейчас я нажму на кнопку и потребую костыли.

— Ну и что? Ты все равно встать не сможешь. Я сделаю это не из-за твоего гнусного шантажа. Но только одну затяжку.

Дед закрыл глаза. Жест, означающий согласие.

В тумбочке у соседа обнаружили и сигареты, и спички.

— Нашел? — спросил дед, не открывая глаз, — теперь прикури и дай мне.

Гриша прикурил, вставил сигарету в губы старику. Тот глубоко затянулся, затем сдвинул ее языком в угол рта, выдохнул дым в потолок.

— Ну вот, — Гриша протянул руку за сигаретой, — достаточно.

— Хорошо... — старик сделал долгую паузу, наслаждаясь остатками дыма, — потуши... Там на лоджии стаканчик.

Через два дня дед мог вставать. А в последний раз уже ходил, придерживаясь за стены. Но «совет родственников» был недоволен: все считали, что дед мог поправляться быстрее, если бы ел. Он действительно ел очень мало.

— Пока я находился, как ты говоришь, в состоянии клинической смерти, мне пришла в голову одна вещь, — объяснял старик Грише, — поэтому я так мало ем. Кроме того, мне здесь капельницы с глюкозой каждый день ставят.

Этот разговор происходил в последнее Гришино посещение, не в палате, а на лоджии. Старик сидел на стуле, укрывшись пледом, и смотрел во двор. Больница была достаточно современной, широкие лоджии опоясывали ее по периметру двора. С высоты девятого этажа открывался вид на палаты напротив, козырьки крыш подсобных помещений внизу, асфальт, пожухлую траву и чуть подальше, в тех местах, где тело этого каменного огромного дракона, наполненного больными и болезнями, изгибалось в сторону — часть улицы, корпус медучилища, люди и машины, соразмерные с осой, которая ползала по краю стакана для окурков.

— До моря далеко, а чаек больше, чем голубей. — Гриша рассматривал птиц, пересекающих полетами пространство двора.

— Тут эти чайки ловят хлеб прямо на лету, бросишь кусок, и пока он летит, уже подхватывают, — рассказывал ему дед, — это потрясающе! До чего все-таки удивительно устроены птицы, вот, смотри, парит и крыльями почти не машет. Два-три раза, и уже поднимется. Ведь не так много надо энергии, чтобы преодолеть эту силу тяжести. И тогда все проблемы были бы решены.

Гриша тем временем сравнивал чаек и голубей. Голуби, в отличие от чаек, чтобы удержать в воздухе свое тело, быстро мельтешили крыльями. Выглядело не очень-то и красиво. Он вдруг подумал, с какой скоростью пришлось бы работать руками человеку. Он даже представил себе этого человека с подвязанными к рукам крыльями на манер голубиных: он стоял на лоджии больницы и бешено махал ими, пытаясь взлететь.

Покончив с пышками и чаем, Гриша прошел вдоль ларьков, купил связку бананов и маленькую дыню. Про апельсины вспомнил лишь через полчаса, когда оказался в круглом больничном холле: четыре стороны света — четыре лифта, два — только вверх, два — только вниз.

Он вошел в лифт и уже потянулся в сторону кнопки, как в кабину влетели две молодые медсестры. Они были похожи на школьниц, тех, у столика возле ларька. Только вместо цветных

курток — белые халаты. «Студентки медучилища», — определил для себя Гриша.

— Вам куда, — спросил он.

— Девятый, — бросила одна, даже не посмотрев в его сторону.

— И мне туда же.

Гриша надавил на кнопку.

Медсестра его не услышала.

— Так вот, я до сих пор сама себе не верю. — Она продолжала рассказывать обращаясь к подружке. — Сначала подумала фокус какой, ты же знаешь этих молодых придурков, от нечего делать начинают свои шуточки. А тут старый солидный человек, профессор, физик. Блин, думаю, или у меня крыша едет...

— Ну, — подбодрила ее подружка.

— Я захожу, а он так спокойно лежит. Но не на кровати, а над кроватью в пижаме, только руки в стороны раздвинул, а потом так рукой пошевелил и плавно по комнате. Знаешь... — Она сглотнула слюну. — Поплыл. А потом снова на кровать плюх... Даже пружины зазвенели.

— А ты точно уверена, что он это... летал. Может, это просто гипноз. Внушение.

— Может. Но так реально, знаешь. Потом ко мне поворачивается и смотрит. — Она на мгновение замолчала и стало слышно, как шумит лифт, преодолевая этаж за этажом. — А я сама, открыв рот, стою. Мурашки по спине, страшно, знаешь как. А он говорит, совершенно обыденно, как пообедать приглашает: «Ничего удивительного, — говорит, — не хотите ли сами попробовать?»

Она рассмеялась и снова повторила.

— Это, говорит, несложно. Не хотите ли сами попробовать. Представляешь?

ИЗ ЦИКЛА «РАССКАЗЫ БЕЗ КОНЦА»

ИМЕНА

Она стояла у расписания пригородных поездов, маленькая девушка с большими глазами и бледным лицом, в шелковой юбке со сборками, черной футболке и серой вязаной кофте. Что бы она ни надевала, печать города оставалась на ней. Все эти подземные переходы, библиотеки, прочитанные книги, кафе, умные разговоры в сигаретном дыму, музыка, может быть даже что-то до предела изысканное, плохо понимаемое другими, фигуры разнообразнейших Фрейдов, Беккетов и Бартов плотно окружали ее, отделяя от реальной толпы с тюками-чемоданами-тележками, с рюкзаками, полными дачного барахла, и досками, увязанными в аккуратные пакеты. Для всех этих людей она была плавно обтекаемой помехой, лишней мыслью — да и о чем можно думать на этом вокзале, где оброненная обертка или смятая банка никогда не станут метафорой, потому что спешка сметает все: поезд прибывает к платформе, надо успеть.

Миха не мог представить ее в деревне, затерянной в лесах и болотах.

— Я люблю авантюры, — сказала Вика, — но это какая-то вялая авантюра. Почему ты позвал меня?

Мысленно он продолжил за нее: «Не с кем было поехать, а одному скучно, так что ли?»

Они уже шли к кассам дальнего следования, сначала в потоке, ведущем к пригородным поездам, затем пересекая его, затем против очередного потока, вытекающего из вагонов, мимо вок-

зального шума, над которыми голосом местного божества грели сообщения о поездах, и Миха объяснял, что это — вовсе не авантюра, а обычная поездка на свадьбу его однополчанина, а Вику он позвал с собой, потому что она — одна из немногих во всей институтской тусовке, с кем ему интересно. Его собственные слова казались ему какими-то мыльными, они лопались, словно пузыри, но чем больше он говорил, тем больше верил сказанному: ни с кем, кроме нее, да и в одиночку, он бы, наверное, и не поехал.

«Вологда-гда, Вологда-гда, мы с тобой приедем когда?» — произнес он про себя, переделывая песню, слышанную в раннем детстве, тогда ее часто передавали по радио, но теперь в его памяти остались только какие-то обрывки: «...к милой приду, Вологду-гду Вологду-гду, в доме, где резной палисад». А от Вологды вниз, на юг, в деревню, затерянную в болотах, это кто? Иосиф Бродский? Почему я все время говорю цитатами, даже думаю цитатами, а где же мои собственные, настоящие слова? Лучше ничего не читать, тогда и цитировать будет нечего. Или найти пару неизменных, похожих на комья мокрой земли фраз (цитата, но чья?) и ворочать их за деревянными столами, где водка и мужики со стаканами да кружками, где из года в год все повторяется, как эти фразы, только морщин и седин становится больше, где время течет медленно, темное, как торфяные реки — коричнево-красные змеи в зелени ельников и заливных лугов.

Билетов на Вологду не было.

— Значит, поедем на электричке, — сказал Миха, — до Волховстроя, а там увидим. Должна быть электричка и до Тихвина. А можно и по трассе. Там трасса наезжанная, я ходил. Я на всякий случай даже карту и спальник с собой прихватил.

— Я тоже спальник взяла.

Утренняя электричка, контролеров нет, вокруг садоводы с книжками. Вика заснула, положив голову ему на колени. Что общего между вялым и тихим Мишаней, отчисленным из института, и попавшем в армию лишь потому, что вовремя не отмазался, и Пе-

тром по прозвищу Псих. Псих после учебки — сержант, командир отделения. «Жив останусь, женюсь, все ко мне на свадьбу приедете». Через год после того, как Миха вернулся в Питер — а серьезно повоевать ему не пришлось, в первый же месяц его ранили и после госпиталя комиссовали — позвонил Ковалев, однополчанин. Перечислял всех, кого убили, кто пропал без вести: Рыжий, Беляк, Селедка, Бобер, Псих... Псих оказался в числе пропавших. «А еще приглашал на свадьбу!» — подумал тогда Миша и удивился собственной бесчувственности. Никакой печали. Скорбный тон, в котором он отвечал Ковалеву, показался насквозь фальшивым. Но вдруг, еще через полгода, Петр Псих объявился сам, по телефону. Ничего не объясняя, кинул в трубку, полную шелеста, скрипа и шипа, всего несколько резких фраз: «Я обещал пригласить на свадьбу — приезжай. Там все наши будут. Адрес запиши...» Но никого из «наших» Миша в городе искать не стал, а взял с собой нынешнюю однокурсницу Вику. После разговора с Психом спустился в магазин за сигаретами и там случайно ее встретил. И пригласил. А она неожиданно согласилась.

О чем думал Миха, глядя на законный пейзаж? Во многих повествовательных произведениях мы встречаем: «он подумал то-то и то-то». Так надо для развития сюжета. Мы пишем: «подумал то-то и то-то», хотя на самом деле в его сознании происходила еще тысяча других событий, но они нам не нужны. Вот немного из того, о чем думал Миха, пока не заснул:

«Такие красивые мужики, как Петр, часто берут в жены некрасивых, но живых и веселых толстушек... У здорового мужчины эрекция наступает около пятидесяти раз в течение ночи — в каком это журнале, кажется в «Ом». Наступает и наступает. По утрам стоит и то иногда, а ночью как это проверить?» Он представил себе человека, который спит, а другой научно наблюдает за его членом и записывает. Помимо этого он думал о пейзаже за окном, где над желто-зеленым болотом висели белые слоистые полосы тумана, о каньоне реки Жихаревки, где растут какие-то редкие растения... «Как их называют, что-то связанное с эпидемией, ах да, эндемики, там

на полянах много ландышей и белый прозрачный лес. Белые стволы берез, белые облака, белые горошины цветов под ногами». Миху медленно затягивало в полудрему: он вместе с мальчишками стоит в тамбуре поезда, двери открыты, и за окнами сплошное белое море, настолько плотное и ровное, что даже неясно, с какой скоростью едет поезд.

Если высунуть руку, она просто исчезнет в этой пелене, не поймав ни влаги, ни холода, ни ветра, ее просто не будет, поскольку в том мире его руки не существует. И если житель тумана, тот, кто с той стороны протянет руку сюда, то здесь она будет чем-то совершенно другим, может, просто тенью или звуком. Если там вообще кто-то есть. И можно выйти из вагона, раствориться в том мире, исчезнуть полностью. «Здесь ты останешься в воспоминаниях, здесь останутся твои вещи, но самого тебя вообще не будет, — говорил голос из динамика, словно объявлял название очередной станции, — не будет даже молекул составляющих твое тело». И, к своему ужасу, Миха шагнул туда. А потом проснулся. Проснулась и Вика. Поезд подъезжал к Волхову. Пахло чем-то кислым.

— Начало дня, к вечеру будем.

Начало сентября, необычайно жаркое. В кабине водителя — блатные песни. Начало трассы в предместьях Волхова. Трасса Волхов—Тихвин—Череповец всегда казалась Михе несколько языческой, Волхов — колдун, живущий где-то на краю, Тихвин от слова тишь, утихать, Череповец — череп, черный прокопченный, город, находящийся уже с той, другой стороны света. Ведь тот свет находится на востоке, и селезни, летящие с запада на восток переносят души умерших.

— А я до двадцати лет дожила, а по трассе стопом никогда не ездила. И на деревенской свадьбе никогда не была.

— Двадцать лет — это не возраст.

— А самому-то.

— Вот я и говорю, у нас еще все впереди.

Начало всего.

Их высадили в поле. На самом горизонте, за желтым морем овса — темная волна леса. А рядом поток машин.

— Мне надо отойти. Ненадолго.

— Нет проблем. Отойди в поле и не страдай.

Мишу это немного раздражало. Потому что невовремя. Скоро стемнеет, и ни одна машина не возьмет: минутная задержка сейчас могла обернуться опозданием в день.

— В поле не могу, оно все на виду. Вон, смотри, там туалет есть.

В глубине зеленого островка с противоположной стороны дороги находилось некое посеревшее от времени деревянное сооружение, от трассы к нему вела тропинка, а рядом, вполборота к ней, стояла туалетная будка — типичный скворечник из серых некрашенных досок и козырьком.

— Видишь, если очень хотеть, желания реализуются, — заметил Миха.

Вика пересекла асфальт и направилась к туалету.

Дом, входная дверь которого закрыта на всякий замок. Рядом — липа, она, судя по толщине ствола, намного старше самого дома. Вика зашла тем временем в будку.

— Здесь двери нет.

— Ничего, я отвернусь, — ответил Миха, продолжая осматриваться.

Под липой следовало бы быть скамейке. В этот момент порыв ветра пробежал по траве, качнул провода, ветки дерева. И из-за липы выглянул мужик.

«Зачем он прячется?»

— Вик, — крикнул Миха в сторону будочки, и вдруг понял, что мужик висит на ветке, на веревке с другой стороны дерева, — а... а вон тот мужик за деревом тебя не смущает.

— Ой, — донеслось из будочки.

— Он, кажется... того...

Миша уже в этом не сомневался. Он медленно по дуге начал обходить дерево. Мертвец висел к нему спиной: длинный серый плащ, рабочие штаны, на ногах — резиновые сапоги. Одна нога неестественно вывернута в сторону, словно висельник окаменел, не успев закончить очередное па смертельного танца. Голо-

ва мертвеца была опущена на грудь, Миха видел лишь толстую веревку и шею, обмотанную какими-то тряпками. «Придется объясняться с ментами, а это совсем некстати, все эти бумажки, показания... А мандрагора? — Он вдруг вспомнил отрывок из какого-то фильма, где двое влюбленных ели корень мандрагоры, похожий на маленького человека, корень растения, выросшего из спермы повешенного, он посмотрел вниз, у корня дерева — никакой мандрагоры, обычная трава тимофеевка, довольно высокая — давно не косили, а под ногами висельника — ни скамейки, ни упавшего стула, и это перевело его мысли в иную плоскость — значит он не повесился, его повесили. Еще лучше... Странно, что запаха нет».

Миха подобрал сухую ветку и осторожно дотронулся до мертвеца, словно тот мог выкинуть нечто неожиданное.

Так и случилось. Сапог слетел с ноги висельника, обнажив под собой проволочный каркас.

Миша сначала отпрыгнул, затем рассмеялся.

— Что с ним? — услышал он за спиной Викин голос.

— Ничего. Это пугало....

Это был весьма искусно сделанный проволочный манекен, обряженный в штаны и плащ, голова, сделанная так же из проволоки, была обмотана тряпками, успевшими выцвести, под воротник забились листья — манекен висел уже не один день.

— Может, снимем его. Мне до сих пор смотреть неприятно.

— Зачем, может, оно птиц отгоняет... Впрочем, не от чего?

— Но тогда кого оно пугает?

— Людей.

— Но зачем?

— Чтобы в дом не лезли. Или о бренности жизни задумались.

Следующий водитель высадил их на развилке, и теперь они шли по грейдеру, который на карте десятилетней давности почему-то значился как «дорога с асфальтовым покрытием».

— Знаешь, я тут недавно говорил с одним моим другом, его Энди зовут.

— Мне твои имена ничего не говорят. Ты странный человек, почему ты называешь имена, когда о ком-нибудь рассказываешь. Вот я, например, говорю, один мужчина или одна женщина, а ты всегда говоришь такой-то или такой-то. Я твоего Энди, например, совсем не знаю.

Миха задумался.

— Наверное потому, что я пытаюсь таким образом сохранить реальность. Для себя. Когда называешь имя, призываешь конкретный образ, и этот конкретный образ позволяет сказанному не рассыпаться, а существовать в некой реальности. Пусть даже она называется «прошлое».

Вика зевнула.

— Хотя, что такое реальность? — продолжил Миха. — Один мужчина, одна женщина, в твоей реальности, пока у них нет имени, они бесплотны и неприкаяны. Как в какой-нибудь притче. А у меня обретают нечто вроде веса и плоти.

Странная женщина в желтой вязаной кофте и с большой охапкой цветов в руках. Ромашки, пижма... Иван-чай. Желтое пятно кофты и белый воротник. Лицо у женщины коричневое, вытянутое снизу доверху, голова сплюснута с боков, словно когда-то побывала под невидимым прессом. Волос не видно — цветной платок: черное-красное-зеленое.

Она стояла на обочине и смотрела на них. «Так же, наверное, смотрят лошади и коровы, — подумал Миха, — и мысли ее такие же растительные и незамысловатые, как у лошадей и коров. Почему это я решил, что у лошадей и коров незамысловатые мысли. Как мысли могут быть незамысловатыми? Немасляное масло».

— Здравствуйте, — Миша поздоровался первым и даже слегка на ходу поклонился.

— Здравствуйте, — словно эхо, повторила Вика.

Женщина молчала. Теперь Миха видел морщины — сложный узор, кора дерева, на которой процарапан рот. Дерево, растущее у дороги. Нос — словно сучок, глаза — два сочащихся смолой дупла.

— Не подскажете, в Заречье эта дорога? Мы правильно идем?

— Правильно, желанный, правильно, — вдруг заговорила женщина, — Заречье то вот за рекой и будет, только я то вот на вас смотрю и не пойму никак, к кому в Заречье-то, здесь никого же нет, только я да козочки мои, больше то никого...

— А мы не в Заречье, мы в Осино... По карте прямая дорога, Заречье, Осино...

— Осино, — женщина резко выдохнула, — в Осино, может, и пройдете, но я вам скажу, — она приблизила губы к Мишиному уху, — дальше вам идти смысла нет, там дальше одни сумасшедшие живут.

— Что?

— Ну, вы же знаете, — она перешла на шепот, — мы же интеллигентные люди. Там сумасшедшие. Это последняя деревня.

Миха почувствовал, что ничего путного у этой женщины он выяснить не сможет, а она вдруг отскочила от него так резко, что Вика вздрогнула.

— Когда здесь проезжала машина, они все сошли с ума, — сказала женщина уже громко. — Та, которая с бидонами молока. Знаете, она проезжает здесь каждый день. Да вы сами увидите, желанные. Она привозит им молоко. Молоко, говорят, помогает.

— Хорошо. Спасибо...

— Вы туда не ходите...

— Спасибо, мы посмотрим...

Мишка уже понял, что женщина немного не в своем уме, и спешил отвязаться.

— Вы же интеллигентные люди, зачем вам....

— Мы только посмотрим и назад... До свиданья. — Он потянул Вику за руку.

— Вы туда не ходите... Это последняя деревня.

Они пошли быстро, почти побежали, и когда, метров через сто, Миха обернулся, женщина по-прежнему стояла на дороге и смотрела им вслед.

— Надо было на автобусе ехать, — сказала Вика. — Висельник этот. Теперь эта тетка. Меня эта дорога пугает.

— И ночь сидеть на автовокзале. Разве плохо идем. Наслаждайся природой. А тетку и висельника воспринимай словно

некие знаки, смысл которых нам может и не открыться. Ты же филолог. Загадки, которые загадывает сфинкс перед тем, как нас пропустить.

— Куда?

— Слышишь, сзади. — Миха остановился и взял Вику за руку.

— Похоже, машина.

Позади ехал грузовик. ЗИЛ с открытым кузовом: голубая голова коричневого пыльного дракона, ползущего по желтому полю.

— Машина с бидонами. — сказал Миха.

— Не шути так. — Вика поежилась.

Миха поднял руку, и дракон, сложив крылья, остановился.

— До Заречья.

Водитель, долговязый мужик с изъеденным крупными оспинами лицом, кивнул, они втиснулись в кабину. Пыльный салон, под лобовым стеклом на полке — карандаш, какие-то бумаги и несколько мертвых мух. В ногах, рядом с пассажирским сиденьем — ржавая канистра.

— Вы молоко везете? — спросил Миха.

— Почему молоко? На это молоковозы есть.

— Мы вообще-то не в Заречье, мы в Осино едем.

— Так в Осино вам надо было с другой стороны. От Заречья крюк.

— А на карте дорога...

— Ну... на карте. А вам ближе всего через брод и по проселку там... километров десять. Я вас у брода высажу... Дорога одна, не заблудитесь.

— А вода-то холодная... Бррр...

Миха уже успел зайти по пояс, а Вика все еще стояла — мраморное дрожащее изваяние с рюкзаком над головой. Он повернулся и теперь критически разглядывал ее. Ее фигура казалась совершенной. «А может, она и в самом деле такая. Просто это тот случай, когда одежда прячет не недостатки, а достоинства. Холодная вода смывает всякую физиологию, оставляя место для беспристрастной оценки».

— Иди, не бойся.

— Если бы она была не такая темная. Терпеть не могу вязкое дно. Миха вернулся, протянул руку.

— Не бойся, пошли. Замерзнешь.

— Ты не умеешь одеваться... — сказал он Вике уже на середине реки, — у тебя чудесная фигура, а ты прячешь ее от всех под этой капустой. Он указал на рюкзак, распухший от тряпья.

Вскоре они уже были под деревьями на другом берегу.

— Входили в воду засветло, а вышли уже в сумерках. — Миха протянул Вике свою футболку, — на, оботрись, теплее будет.

Кусты ивы справа и слева, сиреневые веретенообразные облака тумана, повисшие в метре над болотом. Вязкая глиняная дорога, всхлипом провожающая каждый шаг.

— Вот зашли. Дождя вроде не было, а дорога словно каша.

— Что меня смущает, — сказал Миха, — это следы. Колеи — это от трактора, вот эти лунки, скорее всего, медведь, а человеческих следов нет.

— Почему ты меня все время пугаешь?

— Не пугаю, а рассуждаю. Нужен же мне какой-то собеседник.

Вика перешла на перемычку между колеями, отчего вдруг стала выше, одного роста с Михой, и ухватила за его руку.

— Мне и так здесь не по себе.

— Не волнуйся, раз колея есть, тем более глубокая, значит, люди ездят. На тракторе.

От болота веяло сыростью. Ивовые заросли сменились полумертвым березняком. Белые стволы торчали из воды, где-то ниже собирающейся в ручей, Миха определял его как водосборник, край болота, со стороны которого собирается вода. Ни топи, ни трясин, просто — мертвый лес. А с другого края — Миша хорошо его представлял — должны быть сосны, ярко-зеленый мох, черника и голубика, та, что в народе прозвана винной ягодой, и болиголов, чей аромат приятен для носа, но не для головы, а ближе к центру, где деревья все тоньше, и лес становится совсем прозрачным, начинается клюква, камыш, сухая трава с белыми ватными цветами, затем трясины и болотные озера.

Дорога повернула вверх и вышла в поля, соединенные перелесками. В низинах — все тот же туман, теперь, уже в лунном свете, кажущийся белым.

— Туман и холод к ясной погоде. Вон, смотри.

Темная зубчатая линия деревьев одного из перелесков на холме перемежались треугольниками — крышами домов.

— Какая-то она неживая, — сказала Вика, — ни одного огня.

— А огней и не должно быть. В деревнях все рано ложатся. Тем более, здесь наверняка старики одни. А может, это заброшенная деревня. Там у нас было, на карте... Николаево.

— Хотя бы фонари горели.

— Экономия. Не волнуйся, сейчас придем и баиньки, — сказал Миха, — на русскую печь. Ты спала когда-нибудь на русской печи?

— Не спала. — Вика улыбнулась, но темнота съела ее улыбку. — У меня ноги как две гири. Глина налипла и не отдирается. Вроде в гору идем, а дорога все равно грязная.

— Глина. Вода не впитывается. Здесь, наверное, грязь даже в засуху.

— Одно хорошо, комаров нет.

— Деревня-то не маленькая. Должен же кто-то не спать.

Словно в подтверждение его слов от ближайших домов звонко залаяла одна, судя по всему, некрупная собачонка, затем вся деревня взорвалась собачьей разноголосицей.

— Видишь, собаки уже нас учуяли. Значит, жилая деревня.

— Уф, — выдохнула Вика, — слава богу.

— А вот и они. И палки-то нет. Держись за меня.

На околице их окружили. Большинство — некрупные, светлые, и пара больших, черных.

— Не останавливаемся. Делаем вид, что их не замечаем, — сказал Миха.

Это подействовало: собаки расступились и, не переставая оглушительно лаять, теперь бежали чуть позади.

— Свинство. Почему их не за заборами держат? — Миха продолжал говорить, забывая собственный страх бодрыми возмущенными словами. — Не волнуйся, деревенские собаки только лают.

Вдоль улицы тянулись заброшенные дома.

— Видишь, — прокомментировал Миха, — дома-то заброшены, но столбы целы и провода на них есть... Значит, есть и жилые.

Они вышли на поляну, точнее, на площадь, являющуюся, скорее всего, центром деревни, посреди — маленький домик, сруб колодца, и вокруг — те же самые нежилые темные дома. Собаки по-прежнему лаяли, но как-то менее агрессивно, возможно, поняв, что гости не отступят.

— А мне кажется, в этой деревне никто не живет, — сказала Вика.

— Не может быть. Раз собаки есть, значит, и люди живут. Надо же чем-то собак кормить.

— Я читала рассказ, кажется, Кэндзабуро Оэ или Агутагавы про то, как один велосипедист вез мясо и на него напали дикие собаки.

— И...

— Не помню. Кажется, его съели. Жуткий рассказ.

— Ну вот, сама себя пугаешь.

— Не пугаю. С тобой мне спокойно.

— Знаешь что, давай переночуем в первом же пустом доме, а завтра утром пойдем дальше. Благо спальники есть. Выбирайте, сударыня.

— Вот этот, — Вика потянула его через поляну, — он мне кажется наиболее целым.

Собаки, продолжая лаять, точнее, уже не лаять, а брехать, потянулись следом.

— Они, что ли, за нами в дом полезут.

— Нет, тут пока продерешься, шею свернешь. — Он забрался на крыльцо, затем помог Вике. Собаки остались на дороге, за забором.

Дверь легко подалась, Миха чиркнул зажигалкой.

— Ого. Осторожнее. С одной стороны пол разобран.

В комнате, в отличие от сеней, пол был целым. Он прогибался к центру под тяжестью русской печи, разрисованной лунным светом и тенями: серебряные прямоугольники, темные полосы. «Дурацкая привычка ставить печи не на отдельном фундаменте,

а на полу. А под печью сруб», — Миха вспомнил, как бабушка рассказывала ему про одних печников, что печь поставили, стали обмывать, а она вдруг исчезла. Оказывается, они забыли внизу подпорки положить, и вся печь провалилась в подвал.

— Я на такой печи спать не буду, — сказала Вика.

— И не надо. Она же холодная. Будем на полу.

— Двери закрыты. Никакие собаки не войдут.

— У нас во фляге осталось?

— Осталось... Допивай, я не буду.

— Согревает.

— Представляешь, в лесу холодно. И, наверное, еще комары остались. А здесь никого.

— Может, ветер их из деревни выдувает. На горе все-таки. — «Комары перемешивают нашу кровь, делая нас братьями и сестрами», чья цитата? — Или комариное время кончилось. Тебе так удобно?

— Удобно. А тебе?

— Повернись ко мне лицом.

— Угу.

— Сапоги к утру не высохнут, будет неприятно влезать.

— Утром мы пойдем босиком.

— Жарко.

— Говорит жарко, а раздевает меня. Станный ты...

— ...

— Тише... Что это?

— Сверчок, наверное...

— Поет. Не думала, что в этих их северных краях водятся сверчки или кузнечики....

— Водятся. Я люблю эти звуки. Словно на юге, в степи...

— Странно. Я сама себя не узнаю...

— Но тебе нравится?

— Угу... Очень...

Темные рыбы в чешуе из человеческих костей медленно заплывают в окна дома. Они хватают большими губами комаров,

и неспешно шевелят хвостами. Миха встает и дотрагивается до одной из них. Она резко, по-щучьи, отдергивается и затем атакует, пытаясь присосаться к его сердцу. Он хватает рыбу руками, но это уже не рыба, а рог, полный вина, и по краю, словно орнамент, ровные белые зубы. «Пей до дна, пей до дна», — кричат невесть откуда взявшиеся люди.

Миха бросает рог на землю, потому что он уже не в доме, а в поле, и тяжело бежит по дороге, а рог, острым концом вспарывая глину, несется следом за ним. «Но где собаки, должны быть собаки?» И он, наконец, видит их. Они сидят полукругом, задрав головы к пустому белому небу и воют.

Миха проснулся. Никто не выл. Рядом посапывала Вика. И продолжал петь кузнечик-сверчок. Луна переместила свои серебряные прямоугольники с печки на пол и на стены. Миха встал, натянул куртку.

— Ты куда? — сквозь сон пробормотала Вика.

— Сейчас.

Он дошел до края комнаты, вышел в сени, постоял немного на краю серебряной земли, обрывавшейся в полную тьму, и взглянул на дорогу. Собак не было.

Когда он вернулся и, забравшись под спальник, прижался к Вике, снова возникло желание, но его быстро заглушил сон.

Их разбудили шаги на крыльце, затем в сенях... Дверь распахнулась: в комнату, которая в солнечном свете казалась пустой и прозрачной, поднимая искры пыли и махая хвостом, забежала рыжая собака. Она бесцеремонно обнюхала лежащих, затем повернулась к двери, где уже стоял ее хозяин, коренастый пожилой человек, с седой, аккуратно подстриженной бородой и круглым, выгоревшим на солнце, лицом.

Миха сел и поздоровался.

— Здравствуйте, здравствуйте. — Голос вошедшего был густым и ровным. Миха подумал, что так мог бы разговаривать Дед Мороз с детьми на новогоднем утреннике или какой-нибудь персонаж экранизированной народной сказки. — Вот чего ночью-то лаяли. А я-то думаю, кабаны, значит. Напугались, небось.

— Немного.

— Туристы, что ли? Чего же ко мне не постучали.

— Темно было. Вы уж извините, что так. Мы сейчас уйдем.

— Да мне то чего. Тут все дома уже давно ничьи. Когда встанете, ко мне пойдем, позавтракаете хоть.

Собаки дневные отличались от собак ночных. Они были ухоженны и вежливы — не лаяли, а чинно сидели на дороге и затем сопровождали хозяина и гостей до длинного дома, выкрашенного в зеленый цвет и напоминающего паровоз начала прошлого века.

— А куда, если не секрет, путь держите.

— Мы в Осино идем. К Петру Кириллову на свадьбу.

— Ну дела. Седьмой десяток здесь живу, никакого Кириллова никогда не знал. Свадьба...

— Заблудились мы ночью...

— Да не, не заблудились. Осино здесь одно...

— Так это Осино?

— Пока живу, Осиным называли. Только Кирилловых здесь не было. Я один уже лет десять как. Как жена умерла. Так один на всю деревню и остался. Летом дети, внуки приезжают. Еще дачники Борисовы... А зимой один. Вот угощайтесь, мед собственный.

— А дома?

— Что дома? Они сгнили уже все. Ими только печь топить.

— И другого Осино здесь нет?

— Нет, не было. Пошутил кто-то.

— Да... Тот, кто приглашал, шутить не умел.

— А то, коли приехали, поживите здесь. Отдохнете. Грибы, вон клюква скоро пойдет.

— Собак у вас много, как вы в одиночку их кормите?

— Ну, сынок, у меня не только собаки, свиньи есть, три коровы. И пасека еще. Я, как это теперь принято говорить, фермер. Только вот один живу. А собаки что, много не просят. Ни одной, скажу, специально не заводил. Сами откуда-то приходят... Вот Серый, это волчья порода, и Белка, вот лаечки, Селедка и Рыжий, это уже дети. Бобер, вот эта вот, на самом деле сучка, дворняга-

дворнягой, а на охоту я с ней хожу. Только с ней. Воды не боится, утку в два счета находит.

— А... — Миша смутился настолько, что Вика удивленно посмотрела на него. Совпасть могло одно, два прозвища, но совпали все! Но почему он так назвал собак?

— А Псих? — спросил Миха.

— Псих он и есть Псих. Психуша... — Старик почесал за ухом большого черного кобеля, не заметив, что до этого он не называл гостям его кличку. «Или старик все знает. Что все?» — Поток бессвязных мыслей захватил Мihu, и пока он пытался выкарабкаться, дядька продолжил: — Псих, значит, не совсем то есть нормальный... Его мне дачники оставили... По мне так он вполне нормальный. До сучьего племени просто сам не свой... Загулял где-то, только вчера вернулся... Суку за километр чует, Психушка... Они не могли его в городе держать... Вот Психом и назвали. А мне то что... Хоть селедкой в бочке назови...

РЫБЬЕ СЛОВО

Это была не щучья погода: с утра — жарко, солнце, а к середине дня — грозовые облака, перемежающиеся с чистыми кусками неба. Щуки на этом озере клевали, когда ровно, пасмурно, мелкий морозящий дождь и ветер. Сейчас не клевало ничего. Толик сидел «на веслах», а Темка, то есть Артемий, разматывал и сматывал спиннинг. Они успели поймать одного щуренка — карандаш грамм на двести, старую леску с грузилом, пару коряг, кучу травы, успели также зацепить чужую сеть, из которой полчаса выпутывали блесну. Теперь они сняли блесну и ловили на воблер.

— Толик. Давай правее, мы на камни идем. Я не хочу воблер терять. Знаешь, сколько он стоит?

— Воблер, — Толику явно нравилось это слово, — шмоблер.

— Правее, воблер!

— Сам ты воблер. Сейчас как воблерну веслом!

— Это я тебя отвоблерию по самый воблер!

— Во бля воблер... Посмотри.

Пока они огибали мыс, погода изменилась окончательно: темная, ровная пелена, высвечиваемая молниями, уже повисла над лесом, и окаймляющие ее черные тучи успели закрыть полнеба.

— Точно дождевое, — сказал Толик. — Надо на берег, под елки спрятаться.

Словно подтверждая его слова, сверкнула молния.

Тема начал считать.

— Раз-два-три...

На счете «три» ударило, причем с такой силой, что по озеру прошла волна и покачнулись деревья на берегу.

— Может, до дому успеем?

— Против течения вряд ли.

— Оно не сильное.

Течение действительно было слабым: только по траве, зеленым подводным нитям-волосам, тянущимся навстречу лодке, можно было определить, что оно существует.

— Сматывай катушку, здесь трава одна. Давай вместе погребем. Быстрее будет.

Очередная вспышка.

И снова Тема считал.

— Теперь вроде дальше. Может, мимо проходит. Я слышал, что гроза опаснее всего на воде.

— Ну да. Молния убивает только то, что торчит. Вот я поставлю весло вверх и, как волшебник, закричу. — Тема завыл глухим голосом. — Я призываю все молнии.

— Тише ты! Во грохочет.

Раскат грома продолжил их разговор.

— Давай лучше к берегу, вон смотри, там хижина.

Они зашли в узкий камышовый проход и пристали к берегу, Темка выскочил, подтащил лодку, и в этот момент упали крупные первые капли. Бросив снасти и весла на дно лодки, мальчишки помчались к «хижине» — сарайчику, обтянутому рубероидом. Они встали под козырек, прислонившись к стене рядом с две-

рю, закрытой на замок. Пелена дождя сначала скрыла от них противоположный берег, затем деревья и саму лодку.

— Жаль, внутрь не влезть.

— Неа, смотри, замок-то сорван.

Темка потряс замок, словно желая убедиться, что одна из петель сорвана и замок вместе с ней свободно болтается на двери, затем потянул на себя. Дверь легко открылась.

Внутри оказалось тесно, грязно, но сухо. Свет попадал через дверь и маленькое окошко без стекла, в которое выходила ржавая печная труба. Изнутри было видно, что стены сколочены из разномастных досок, старых поддонов, кусков фанеры и весь этот скелет защищает от дождя местами уже прорвавшаяся рубероидная кожа.

Справа от входа находилась печь, маленькая, кирпичная, с чугунной, покрытой копотью, плитой, на которой лежали какие-то консервные банки, стаканы, несколько пустых полиэтиленовых бутылок, рядом с печкой — заваленная тряпками самодельная лежанка, а на противоположной от двери стене — деревянная полка с обертками от таблеток.

Толик закрыл дверь. И за ней, в углу, обнаружил деревянные костыли.

— Смотри, Темка!

— Ого, целые... — Тема взял один из костылей и принялся рассматривать, — большие... Как на них ходят.

Затем взял второй и попытался встать на них.

— Тем, ты их лучше не примеряй. Мне дед говорил, тот, кто примерит чужие всякие больничные штуки, сам потом больным становится.

— У, блин! — Тема отбросил костыли. — Они еще и грязные.

— Здесь вообще грязно. — Толик принялся разгребать палкой тряпки, набросанные на лежанку, — бомж, наверно, какой-нибудь живет.

— Нет, не бомж, это — домик рыбака, видишь, расписание на стене.

На стене мелом были написаны цифры, которые вполне могли означать время отправления поездов.

— А ты думаешь, если бомж, ему расписание не нужно?

— Нормальный рыбак не развел бы такую грязь. — Тема смахнул с печи банки.

— Может, здесь вообще чисто и аккуратно было, пока не вошел кто-нибудь типа тебя и не разрушил здесь все.

— Ой!

— Что?

— Мне не по себе в этом доме. Давай уйдем. Еще скажут, что мы дверь взломали.

— Да не бойся ты! Если что, мы же почти ничего не трогали. Просто зашли дождь переждать. К тому же дверь давно взломана. Это видно.

— А вдруг кто-нибудь придет?

— Ага, приссал.

— Нет, просто показалось, что там в елках... — Тема указал на ближайшую ель, темный силуэт которой угадывался за пеленой дождя, — кто-то есть.

— А представляешь, такой дождь на несколько дней.

— Нет, такой дождь долгим не бывает. Давай, что ли, в печи огонь разведем. Можно щуку пожарить. — Он снова повернулся к печке: — Смотри, этот лист, как сковородка.

— А кто за щукой пойдет?

— Ой!

В дверях, закрывая собой весь свет, появилась массивная человеческая фигура.

Юлька сидела на камне, опустив ноги в воду, и небольшой полосатый окунь стоял напротив ее правой ноги и, словно завороченный, смотрел на большой палец.

— Мама, Тема, идите сюда, — позвала она, — смотрите, стоит и смотрит. А раньше щука была, такая длинная, как карандаш.

Тема поднялся.

— О мой цветок, свет моих очей, украшение разноцветного оазиса, именуемого лоскутным одеялом, собираешься ли ты оторваться от многомудрого чтения и поспешить на призыв своего прекрасного дитя?

Ирина улыбнулась, не отрывая взгляда от книги.

— Угу, дайте мне хоть страницу дочитать.

Ему нравилась дачная жизнь, нравилась эта женщина, с которой он уже несколько месяцев жил вместе, ему нравилось слово «мы», нравилось, когда она называла его своим мужем. Они были одногодками и закончили один и тот же институт, но учились на разных факультетах и по-настоящему познакомились лишь здесь — она год назад приобрела участок, а он приехал помогать родителям перестраивать веранду. А этим летом он уже строил ее, то есть свой собственный дом.

Он направился к Юльке.

— Тише иди... — зашептала она, — вон, смотри.

— Да, стоит и смотрит.

— Знаешь. — Она пошевелила ногой, и окунь быстро отпрыгнул в сторону, так словно вода была воздухом. — Рыбки разговаривали с моим пальцем.

— И что они сказали?

— Щука приглашала его на обед, а окунь просто хотел поиграть. Побегать наперегонки до камышей. Можно я твоей футболкой попробую половить рыб?

— Можно, конечно. Тем более я ее стирать хотел.

Она зашла по колено в озеро, расправила футболку и застыла над водой в позе богомола. Затем с размаху опустила футболку в воду.

— Юля, вылезай из воды, простудишься! — Шум оторвал Иру от книги. — Темка, вытащи ее.

— Мама, вода теплая, — возразила дочь.

— Вода теплая, — сказал Тема, — Юль, знаешь что. Давай наберем в ладошки воды и докажем это твоей маме, а то иначе она не поверит.

Он сложил ладони лодочкой, зачерпнул воду и направился к Ирине.

— Тема... Тема... не надо... — заверещала она, — у меня книжка!

— А-а! — закричала Юлька. — Давай ее польем!

— Ладно, не будем ей ничего доказывать. — Тема остановил девочку. — Рыбу и по-другому ловить можно.

— Как?

— Надо вырыть в песке специальный загон и туда загонять.

— Давай.

Они вместе рыли песок, затем соединяли загон каналом с остальным озером, но какой-то человек на водяном мотоцикле пролетел так близко от пляжа, что набежавшие волны быстро уничтожили все их труды.

— Вот гад! — возмутилась Юлька.

— Ничто не вечно, — сказал Тема глубокомысленно, — воспринимай его как цунами.

— Как что?

— Цунами. Такая большая волна, которая смывает целые города.

— Ой, смотри, — Юлька уже оставила идею загона и теперь разглядывала следы на песке. — Сюда вода не добиралась. Какие странные следы. Круглые, словно от палки.

— Ну-ка, посмотрим. Ого. Так это следы не палки, — сказал Тема заговорщицким голосом, — это следы костылей. Здесь живет один человек... Ну не совсем человек... Зовут его водяной дед. Он живет в воде и настолько привык к ней, что вместо ног у него рыбий хвост и по суше он передвигается только на костылях. А появляется он в сильный дождь. В такой, что вода покрывает землю тонким слоем и он может доскользить до своей тайной хижины, где хранит костыли. Потом на этих костылях ночью при луне обходит прибрежные владения. А если туча такая низкая, что днем становится темно, как ночью, то он может и днем появиться.

— Такого не бывает.

— Бывает. Однажды, когда я был маленьким, мы с другом зашли в его хижину. И я даже случайно примерил его костыли.

— И что он тебе сделал?

— Ничего. Просто научил меня волшебному рыбьему слову. Если низко-низко склониться над водой и его прошептать, рыбы исполняют твоё желание. — Тема улыбнулся.

— А мое?

— И твоё. Если ты встанешь рядом со мной вот так в воду, возьмешь меня за руку и загадаешь. Только это должно быть настоящее желание.

— Ну вот, встала. — Она протянула ему ладошку, — давай, прошепчи свое слово...

— А ты загадала?

— Загадала, загадала.

Тема склонился и, прикоснувшись губами к поверхности воды, прошептал...

ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ

Игоря все в ней раздражало. Алая помада, рыбье лицо, крашенные волосы. Имя вполне отвечало внешности — Грета. Блондинка с рыбьим лицом и ярко накрашенными губами — иной Греты он себе не представлял. Впрочем, среди его знакомых иной Греты и не было. В тесном вагоне метро взгляд Игоря поневоле упирался в ее волосы, аккуратно (а Грета была аккуратна во всем) расчесанные на косой пробор, сквозь который проступала розовая кожа (здесь, в метро, она казалась желтой, но Игорь знал, что при дневном свете она противно-розовая). Вид грязно-серых корней волос, кислый запах ее шевелюры вызывали тошноту.

«Как Николай мог любить такую? Даже после его смерти она несет в себе эту любовь, и во имя этой любви я вынужден выполнять все ее сумасшедшие пожелания — ведь так просил Николай. Сорок тяжелых дней, нет, теперь уже не сорок, всего тридцать пять, я должен повиноваться женщине, одно присутствие которой медленно убивает меня! Повиноваться, выполняя последнее волеизъявление покойного. В здравом ли рассудке был Николай перед смертью?» — спрашивал Игорь сам себя.

На «Техноложке» многие вышли, появились свободные места.

— Садись, — Игорь слегка подтолкнул Грету.

— Нет, не хочу.

«Ну и хрен с тобой».

Он сел и попробовал хотя бы мысленно избавиться от неприятной попутчицы. Его взгляд упирался в ее плащ, такой же бледный, как ее кожа. Качающиеся в такт движению поезда складки материи напоминали туман: Игорь уходил в густые волны ткани, но стоило подумать о том, кого они скрывают, отвлечение выталкивало его из этого моря. Сосед читал газету. Игорь смог прочитать лишь заголовок: «БЕЗДЕЛЬНИКИ».

Это относилось к Игорю: двухмесячное безделье тяжелым пивным (скорее даже винно-водочным) хвостом тянулось за ним. А тут еще смерть Николая. Игорь снова поднял глаза на Грету. Она смотрела поверх его головы в темное окно. Ее взгляд гладил бесконечных змей, растянутых вдоль стен тоннеля, — змей, полных электричества. Игорь сам любил под мерное покачивание вагона наворачивать свои мысли на эти бесчисленные провода, превращающиеся, когда поезд набирает скорость, в длинные ровные полосы. Смотреть, как они мелькают в полупрозрачной заоконной глубине, перечеркивая отражения лиц пассажиров, смотреть и думать о чем-либо, обжигаясь об огни комет-фонарей.

Но сейчас Грета нависала над ним, загораживая окно плащом. Зеленый шелковый платок придавал ее лицу еще большую бледность. «Словно неживая... Как Николай спал с ней? — Игорь представил ее холодное безволосое тело. Особенно страшным казался ему лобок — там мог расти только лишайник. — Уж пусть лучше вовсе бесполоя, пусть между ее ног не будет ничего — просто гладкая кожа. Но это еще противнее. Уж лучше резиновая кукла...».

Резиновая кукла, вобравшая в себя волю Николая, сопровождала исполнителя этой воли. Игорь снова обрядил ее в синее, о господи, синее платье, белесые колготки, плащ и зеленый шелковый платок. Так дети одевают кукол, а она была куклой, подобранной из песочницы, навязанной ему другом, который остался лишь в памяти.

Он стал думать о конечной цели поездки. «Зачем она попросила взять складную саперную лопатку, маленькую фомку и плоскогубцы? Поправлять крест? Вероятнее всего, она хочет вскрыть могилу. Но зачем?» Игорь начал мысленно прикидывать, сколько времени займет эта работа.

Самое страшное было в том, что он не мог, не имел права отказать сбрендившей от горя вдове! Он не представлял, что задумала Грета, было лишь неприятное предчувствие опасности. Игорь мечтал о какой-нибудь непредвиденной помехе. Однако прекрасно понимал, что в такое позднее время на маленьком сельском кладбище никого не будет. «Она специально похоронила в деревне, чтобы беспрепятственно совершить это!»

Игорь хорошо помнил, как опускали в темную прямоугольную яму, раскрывшую желтые, на первый взгляд теплые, но на самом деле мерзлые песчаные губы, уже заколоченный гроб с телом Николая, помнил в своей руке горсть этого оранжево-желтого холодного песка, которая рассыпалась по голубой крышке.

«Дай бог, чтобы земля не промерзла». В Игоре снова проснулась задремавшая было неприязнь.

— Я возьму билеты, — сказала она уже на вокзале.

Игорю было все равно. Он не любил вокзалы. И вокзал в тот момент напомнил ему Грете: рельсы, упирающиеся в грязные, заваленные мусором тупики — волосы, белесый бетон — кожу... Хотя, возможно, ее волосы на самом деле были чисты и расчесаны, а ощущение грязи и кислый запах, исходящие от них, он себе просто внушил.

Следующую фразу она произнесла уже в поезде:

— Ты понимаешь, почему я позвала тебя?

Игорь кивнул.

— Николай доверял тебе... И поэтому... — она на мгновение замолчала, — ты должен сделать...

— Что? — Ему с трудом удалось проглотить комок, неожиданно вставший в горле. — Ты же мне ничего не объяснила.

— От тебя требуется лишь мужская работа. Ты откопаешь его...

— Так я и думал. Зачем тебе это?

— Надо, — резко ответила она и отвернулась к окну.

Однако через несколько минут попросила снять с полки сумку, и, немного покопавшись там, извлекла стакан и бутылку водки.

— Выпей немного... — она протянула бутылку.

— А ты? — спросил Игорь, отворачивая крышку.

— Я потом... на обратном пути...

Он налил полстакана, одним махом выпил его и закрыл глаза. Водка обожгла горло, на мгновение избавив сознание от постоянно наплывающих образов кладбища, мерзлой земли и бледного полусгнившего лица Николая. Поезд уже покинул город и ехал среди полей, расчерченных кое-где пунктирными линиями придорожных фонарей. Игорь выпил еще полстакана и закрыл глаза. Снова земля, оранжевый песок и обшитый голубым шелком гроб появились перед ним. И он копал, копал до тех пор, пока не провалился в абсолютную темноту.

— Скоро уже приедем, — услышал Игорь голос Греты.

— Угу...

Он не заметил, как оказался на кладбище. Земля на могиле еще не успела слежаться, и копать было довольно легко.

— Копай быстрее, — подгоняла Грета.

Она сжимала в руке карманный фонарик, его луч освещал комья земли золотым блеском, превращая их в драгоценные камни из далеких детских игр в кладоискателей. Игорь вспомнил, как они с Николаем игрушечными лопаткам ковыряли песок во дворе возле старой кирпичной стены, где якобы был зарыт клад, и на секунду тяжелые мысли оставили его.

— Игорек, пожалуйста, быстрее! — Ее слова вернули Игоря к действительности.

Он скинул куртку и передал Грете. Она набросила ее на плечи. Белый плащ, черная куртка — Грета напоминала сороку. Игорь копал уже не тихо и спокойно, как гробовщик или садовник, он все больше походил на кладоискателя. Странное исступление охватило его, он работал так, словно каждый удар лопаты доставлял ему неопишемое наслаждение, приближал к обладанию заветным кладом, он копал, проникая все глубже, высоко отбрасывая мерзлые комья. «Гробовщики вырыли славную яму!»

На мгновение Игорь прервал работу и посмотрел на Грету. Та опустила фонарь вниз, свет падал на полу куртки и край белого плаща под ней, остальная часть фигуры оставалась темной: за Гретой, ярче фонаря, висела луна, очерчивая силуэты голых, без единого листика деревьев.

— Игорек, миленький, — просительно продолжила Грета, — не останавливайся, давай, нам на обратный поезд успеть надо...

Игорь представил, что ему придется провести с ней ночь на вокзале. «Мы будем сидеть, прижавшись друг к другу, грязные, пропитанные запахом смерти. Нет, это я буду грязный, а она пока даже сапожки не испачкала...».

Он утроил усилия. Выпитая водка заблудилась где-то внутри и уже не оказывала никакого действия: Игорь чувствовал лишь усталость.

Наконец лопата глухо ударилась о дерево. Теперь работа пошла быстрее. Он уже стоял на крышке, точнее, на ребре крышки: гроб располагался под небольшим углом, словно Николай, обретя новое деревянное тело, решил немного полежать на боку. Лопата была достаточно острой, она порой цепляла и сдирала шелковую, некогда голубую, а теперь уже пропитавшуюся влагой и потемневшую обшивку, обнажая не-струганое белесое дерево.

Гроб казался Игорю куколкой большого насекомого, яркий образ ночной бабочки с головой Николая на мгновение появился перед его глазами. Игорь в ужасе отшатнулся и чуть не отбросил лопату.

— Скоро? — донеслось сверху.

— Видишь же...

Он снова, стремясь унять дрожь, с остервенением принялся выбрасывать комья.

Игорь освободил лишь крышку и чуть-чуть расширил яму с одной стороны, чтобы, открыв гроб, можно было встать рядом. К тому же яма оказалась глубже человеческого роста, и без промежуточной ступени было не обойтись.

— Что дальше?

— Помоги мне спуститься. — Она подошла к самому краю, и теперь Игорь видел ее ноги в коричневых коротких сапогах: два уходящих вверх и скрывающихся во тьме белесых столба. У Игоря был одноклассник, Герка, любимым занятием которого было сидеть на переменах под школьной лестницей и смотреть на поднимающихся вверх девочек. Затем Гера сообщал подроб-

ности увиденного, порой заставляя одноклассниц смущаться и краснеть...

«Ириша, по кому у тебя сегодня траур?»

«А что?»

«Чего ты черные трусики надела?»

Герка быстро получил свое. Избили его совсем не по-женски, но царапины на лице говорили о том, что девочки приложили свои руки.

— Да помоги же мне! — повторила Грета.

— Двоих крышка не выдержит, проломится...

— Ну встань как-нибудь, ты же видишь, мне не спуститься...

— Ты бы сняла плащ и куртку, — посоветовал Игорь, — перемажешься.

Она осталась в темной юбке и кофте.

— На, — Игорь протянул к ней руки и на какое-то мгновение оказался прижатым спиной к противоположной стенке ямы. Затем он опустил Грету на доски, которые вскрикнули совсем по-человечески, и ему показалось, что это был голос Николая.

— Ты должен открыть гроб.

Игорь молча повиновался. Яма была тесна для троих. Пришлось снова подкапывать, отбрасывая комья песка прямо под ноги Грете. Наконец удалось подцепить крышку. В нос ударил тошнотворный запах. В тусклом свете фонарика белело строгое лицо Николая. Оно почти не изменилось. Следы разложения были едва заметны... Но запах!

— Подожди меня наверху, — попросила Грета.

Он прислонил крышку к стене и в одно мгновение выскочил из могилы.

— Отойди... За ограду... Оставь меня с ним наедине. — Голос Греты был холодным и бесстрастным.

Когда Игорь отошел в сторону, тени запрыгали по окружающим деревьям: она, по-видимому, закрепляла фонарь. Затем мельтешение теней приняло иные формы. «Что она там с ним делает?» Любопытство не давало ему покоя. «Если бы мне сказали, что она совокупляется с мертвецом, я бы не удивился. Сама как мертвец...». Игорь легко представил себе эту картину: она раз-

рывает ширинку, достает оттуда успевший посинеть член, дует на него, массирует, и синяя, истекающая гнилью плоть оживает, затем Грета садится на мертвеца верхом, и, оседлав его в этой страшной лодке, скачет.

Он невольно поежился. Страх, смешанный с холодом. Теперь Игорю пришлось вырядиться сорокой, сняв с ограды и накинув на плечи свою куртку и плащ Греты. Он снова посмотрел в сторону ямы. Тени продолжали резво и весело прыгать.

И тут ему действительно показалось, что Грета совокупляется с мертвецом.

«Экое паскудство», — где-то внутри прозвучал голос деда, умершего много лет назад.

— Господи, прости, Господи, — пробормотал Игорь, — помилуй, Господи...

Неожиданно страх пропал. И в этот момент из могилы донесся голос Греты:

— Игорь, подойди пожалуйста, помоги...

Из могилы дохнуло тлетворным запахом. Грета сама закрыла крышку и теперь стояла на ней, протянув к Игорю обе руки. Игорь крепко сжал их и рывком помог вдове выбраться из ямы. Ее ладони были теплые.

— Пора, следующая наша, — услышал он голос Греты.

— Ничего себе. Проспал всю дорогу.

Через полчаса образы, преследовавшие его во сне, обрели плоть. Земля на могиле еще не успела слежаться, и копать было довольно легко.

ЧЕМОДАН

Пришел сантехник и долго рассуждал о том, что надо перекрыть стояк, а все краны старые и могут потечь, и эта работа стоит немало риска, и вообще все трубы надо менять, по-

тому что в России железо ржавеет и гниет быстрее, а, кроме того, смеситель, купленный Юлей, полное дерьмо, и откажет он на следующий день, и вообще все это — совсем не то, что нужно. «Говори не говори, а лишних денег я тебе не дам, — подумала Юля, — я тебя вызвала официально, чтобы починить кран. Вот и чини». Он, словно уловив ее мысли, внезапно замолчал, положил на полу в комнате небольшой, старый, обитый по углам железом чемоданчик, достал оттуда шведки и отправился вниз перекрывать воду.

Потом, когда вода была спущена и он уселся на табуретку в комнате перед своим чемоданом, большой, грубый, темный, в ее светлой комнате, тяжелый, как танк, в ее комнате с большими окнами, легкой мебелью и прозрачными, ажурными занавесками, Юля вдруг почувствовала, что находится на оккупированной территории. Все ее мужчины были не такими. Она представила этого сантехника в своей постели и подумала, а что, если... но тут же отогнала эту мысль, превратив ее в жирную мясную муху (этой осенью они невесть откуда взялись на ее кухне), муху, которую прихлопнула рекламной газетой, где был портрет какого-то депутата, кого, Юля на помнила, но помнила, что пятно обрамленное обломками крыльев закрыло ему глаз и она с отращением бросила газету в мусорное ведро.

Но это было еще до прихода сантехника, а сейчас он неспеша копался в чемодане с инструментами. На крышку чемодана изнутри была наклеена дешевая глянцевая картинка: девушка в сдвинутом на живот бюстгальтере и черных сетчатых чулках. Больше на ней ничего не было. Она сидела, развернувшись к фотографу таким образом, что передний план занимали раздвинутые ноги, и возбуждала себя указательным пальцем. Под ней лежали гаечные ключи, плоскогубцы, молоток, ножовка по металлу и прочее железо. В некоторых местах она успела испачкаться темным маслом и получить весьма ощутимые ранения от соседствующих с ней инструментов.

«Симпатическая магия, — подумала Юля, — что стало с реальным глазом реального депутата после того, как я прихлопнула им муху, что испытывала реальная живая фотомодель, когда

железо во тьме чемодана калечило ее портрет?» Почему-то Юля пошла звонить Игорю. А ведь еще несколько минут назад она вовсе не собиралась этого делать. Что можно получить от него кроме «привет, как дела, я сейчас не могу, занят» или подобную этой «отмазку»? Юля хотя и подозревала, что является лишь одной из его богатой коллекции, считала Игоря своей собственностью и каждый отказ вызывал почти физическую боль. Она предпочитала сама не звонить. Но сейчас она набирала номер, а перед ее глазами по-прежнему стояла женщина с картинки, вся истрепанная железными инструментами.

Пока она звонила, сантехник перебрался в ванную.

— Хозяйка, тряпка есть? — Он не просил, а приказывал.

Юля послушно принесла тряпку. Он, даже не обернувшись, подложил ее под кран. Телефон Игоря был занят. Юля вдруг снова представила, как сантехник, грубый, пахнущий потом мускулистый мужчина берет ее, она сопротивляется ему и одновременно сопротивляется собственному желанию; она вдруг поняла, что это желание существует вовсе не в ее представлениях, а наяву, вполне реальное желание, но сантехник занимался своей неспешной работой, и для него она значила не больше, чем фотодива на крышке чемодана. Это раздражало.

Тогда Юля предложила ему выпить.

Он никак не отреагировал, и она повторила:

— Налить?

— Я на работе не пью, — ответил сантехник, не оборачиваясь.

— Я думала, что пить — это одна из особенностей вашей специальности. Ведь часто предлагают?

Он молчал. Юля вернулась к телефону. Номер Игоря был по-прежнему занят.

Сантехник тем временем снял смеситель. Он снова позвал Юлю и указал на ржавые концы труб, торчащие из стены.

— Хозяйка, нужно купить переходник. Иначе криво встанет.

— А у вас он есть?

— Сейчас с собой нет. Его можно купить.

— Может, вы купите? — спросила Юля. — Я в этом не разбираюсь.

— Можно, конечно, и так поставить. Только криво будет.

До прихода сантехника она надеялась, что ремонт не займет много времени, но теперь, поняв, что дело затягивается, вдруг ощутила себя ужасно грязной, словно масляные пятна с женщины на крышке чемодана переползли на ее, Юлину, кожу. И она согласилась — пусть криво, лишь бы работало. Сантехник вернулся в комнату и снова уселся перед своим чемоданчиком.

Юля бросила взгляд на картинку. Ровно посередине — след от сгиба. «Разворот какого-нибудь эротического журнала, и девушка весьма ничего... И хорошо отретушированная. Мне бы такой загар. Но не с моей кожей... — Она представила себя вместо фотомодели и неприятные ощущения усилились, — как только он уйдет, залезу под душ». Однако при этом ее не оставляло желание сломать равнодушие сантехника или хотя бы отвлечь его от труб. «Это все потому, что я обломила его вначале».

— Может, вы хотите кофе? — спросила Юля.

— Нет.

— Почему вы отказываетесь?

— Я работаю, — сказал он, оторвавшись от ящика, — отошли бы в сторону.

Юля посторонилась, и сантехник снова проследовал в ванную. Фотомодель на крышке чемодана продолжала самозабвенно улыбаться. Номер Игоря был занят.

— Хозяйка, — через некоторое время позвал сантехник, — вот, смотрите. Так устраивает?

Перекоса почти не было видно. Сантехник сложил обратно в чемодан инструменты, вымыл руки, заставил Юлю расписаться в каких-то бумагах. Эти бумаги он засунул в кармашек за картинкой, за спиной фотомодели.

— Зачем вы прикрепили здесь это фото? — спросила Юля.

— Не мешает. — Сантехник закрыл чемодан и щелкнул замочками.

Он взял чемодан за перемотанную синей изолентой ручку, встряхнул, и внутри звякнули инструменты, вонзаясь в тело красавицы.

После ухода сантехника Юля вымыла пол, стерла тряпкой со стены масляные и ржавые пятна, затем заперлась в ванной комнате и залезла под душ.

Она сидела на корточках под теплым дождем, когда лампа над ее головой, вспыхнув на мгновение ярко-синим светом, погасла. И в полной темноте Юля почувствовала, как железные мужские инструменты рвут ее кожу, терзают ее тело.

МОЯ ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА

— Вставай. Уже одиннадцать часов. — Слышит он сквозь полудрему голос Тани и чувствует, что одеяло начинает медленно сползать, унося с собой остатки тепла.

— Нет. — Никола отклоняет ее (она успела сесть, поэтому и стянула одеяло) назад. — Лежим.

— Тебе уже пора.

— Зачем? Сегодня по радио объявили лежащую забастовку. Все лежат в своих кроватях.

— У нас нет радио. Вставай давай. Тебя на работе заждались.

Ее голова лежит на Николином плече, и он чувствует щекой ее дыхание.

— Радио у меня в голове, — говорит он, уже окончательно проснувшись и разглядывая потолок.

— У тебя неправильное радио.

— Самое что ни на есть правильное. Все лежат.

— Выключи его и вставай. Я серьезно. Посмотри на часы.

— А чего на них смотреть. У меня по радио объявляют. Вот послушай... Нет, ты ухом прислонись.

Он прижимает Танину голову к своей груди и, подражая голосу диктора, произносит:

— Московское время спать. Встающие ложитесь, лежащие засыпайте.

Затем он разворачивается. Ладонь Николая скользит по ее спине вниз, протискивается между ног.

— Тем, кто не выполняет указания нашего радио, — продолжает он и чувствует, как Таня, потягиваясь, прижимается к нему, — приказываем заткнуть рот.

К этой процедуре он приступает немедленно. Татьяна сначала уворачивается от его поцелуев.

— Но вставать же... — возражает она, однако стискивает ногами его руку.

Дальше появляемся мы, я и моя жена. Я читаю ей этот отрывок, пока она висит на перекладине спортивного комплекса, предназначенного для наших детей, но установленного почему-то во «взрослой» комнате.

— Они у тебя какие-то вялые, — говорит она, — и чем они у тебя занимаются?

— Сейчас или вообще?

— Вообще.

— Ну, он работает компьютерщиком, а она так.

— Вот именно «так», я не вижу никаких образов.

Жена мягко спрыгивает на пол, а я изменяю последние фразы, делая Николу и Таню еще более вялыми:

— Ладно, вставай ты первая.

— А когда я встану, что будет?

— Будет то же самое. Так что видишь, вставать бессмысленно.

Эротическая сцена съезжает вниз на три строчки. На десять секунд действия, на минуту письма.

Жена подходит ко мне. Я задираю ее футболку и смачно целую в пупок.

— Пупок что глаз, — цитирую я писателя Аркадия Бартова, — ласку любит.

Она никак на это не реагирует, а продолжает начатый до исправления разговор.

— У тебя здесь нет образов. Другой пару слов черкнет и... Образ. Я не говорю о том, что надо писать «она была прекрасна», нет. Достаточно...

— Хорошо, — перебиваю я ее, — вот послушай. Моя первая женщина была рыжей. К тому же еще и веснушчатой. И курносой. Она жила на даче через два дома. Ей было восемнадцать лет. Мне было столько же, но я был младше. Намного младше.

— Никакого образа, — говорит жена. — Я ее не вижу. Пошли пить кофе.

— Ладно, — говорю я, — давай я напишу рассказ, где будут одни образы. За полчаса.

— Напиши, — она потягивается, — так, чтобы я их увидела.

— Только скажи о чем.

— О человеческих отношениях. О любви.

— А конкретнее. Вся литература о любви.

— О первой любви.

И я пишу:

«Пошла я раз купаться,
На озеро Байкал,
Совсем уже разделась,
Пристал ко мне нахал...»

Это поет Серега по прозвищу Дыня, толстый, круглолицый, но прозвище он получил не из-за внешности. Просто фамилия у него была Дынин. Расстроенная гитара, желтое переспелое июньское солнце. И под ногами карьеры, глубокие, как царство Аида. Там на дне мертвый лес, иногда деревья ловят ветками неосторожных ныряльщиков и возвращают лишь через несколько дней, белых, распухших, облепленных тиной, и таких же мертвых, как и лес на дне. Вода в карьерах никогда не цветет и прозрачна на несколько метров.

Они сидят на берегу: Алка Серьга, Дашка Рыжая, Серега Фуфел, Игорек, Федя Кислый, Димка и Никола.

Никола — тот самый, что не хочет просыпаться, с которого Таня в начале моего повествования стаскивает одеяло. До этого утра еще десять лет жизни. До Тани еще одиннадцать женщин.

Я могу их перечислить:

Алка,
Наташа,
Света,
Вика,

Маркелыч (нет, Никола не менял сексуальной ориентации, Маркелыч — прозвище весьма милой и хрупкой девушки по имени Наташа, это уже вторая Наташа в его жизни)

Лена,

Алла, но другая,
Наташа третья,
Лена,
Ира,

Алена, которая на самом деле не Алена, а Лена,
и, наконец, Татьяна.

Из приведенного списка видно: имя Наталия встречается три раза, Лен — тоже три, и Алл — две. Спору нет, имя Елена — довольно распространенное, но Наташа и Алла! Я провел небольшое статистическое исследование и выяснил одну закономерность: если у человека имелось достаточно много *сексуальных партнеров* (кому не нравится может выделенные курсивом слова заменить на «возлюбленных», «жен», «мужей»), то, как правило, в списке преобладает одно или два (независимо от того, редкое оно или нет). Шесть из восьми любовников одной моей знакомой носили имя Михаил, у другого из опрошенных первых двух жен звали Алисами, а третью Алиной!

Может быть, свертонкому психологу достаточно было бы подобного списка, чтобы представить образ Николая. Я-то сам вижу его довольно хорошо. Как на берегу водоема, так и через десять лет, в постели с Таней.

О чем он думает, сидя на берегу? Ничего возвышенного — Никола борется со своей плотью. Все его друзья, за исключением Алки, уже в воде, та по-прежнему сидит рядом, прислонившись плечом к его плечу. О если бы не это прикосновение, доставляющее ему столько наслаждения и столько хлопот!

— Пойдем, — говорит она, тащит его за руку, а Николай не может распрямиться и по-прежнему сидит, поджав к животу колени, потому что у него стоит.

— Нет, давай ты первая, я потом, — отвечает он, стараясь придать своему голосу вялое и скучное выражение.

— Коля, Алка, чего вы! — кричат из воды.

«Почему так! Ну опустишь, пожалуйста. Я никого не хочу. Холодная вода! Холодная вода! Ах ты, сволочь!» — Ни мысленные вопли Николы, ни тщетно вызываемый образ холодной воды, не помогают — он по-прежнему стоит.

Тогда, за десять лет до знакомства с Таней, это было одной из проблем Николая. Занятия онанизмом казались ему чем-то крайне неправильным, извращенным, энергия не находила никакого выхода и поднимала его член в самое неподходящее время в самых неподходящих местах. Например, в театре, в филармонии, в общественном транспорте. Или во время урока (Никола только что закончил школу и поступил на первый курс института). Часто это не было связано с какими-либо эротическими фантазиями. Николай мог думать о чем угодно, член вставал независимо от направления его мыслей, движимый лишь темными потоками подсознания.

Алка, оставив Николая на берегу, покачивая бедрами, подходит на край мостков и, сильно оттолкнувшись, ныряет. Она нравится самой себе, она знает, что нравится Николе.

Она нравится и мне, но моя первая женщина будет похожа на Дашу — рыжая, веснушчатая и курносая. Ощущение простоты и света.

А Никола, закрыв глаза, представляет прозрачную и холодную толщу воды, в глубине которой среди ветвей утонувших деревьев мерцает темное золото рыб.

— Вставай. Уже одиннадцать часов, — слышит он сквозь полудрему голос Тани и чувствует, как одеяло начинает медленно сползать, унося с собой остатки тепла.

ВСЕ ЦВЕТА ЖИЗНИ

— Журналы выкидывать не будем, — сказала Нина, — смотри, какие прикольные. Великий вождь товарищ Ким Ир Сен. Знаешь, как будет по-корейски весенняя ива... Бомбадуль.

Нина листала глянцевые журналы «Корея» тридцатилетней давности, которые Гоша скинул с антресолей. Они — Гоша и Нина — вчера переехали, впервые отделившись от родителей. Точнее, разделившись с родителями. Это был подарок, о кото-

ром Нина мечтала давно — собственная однокомнатная квартира. Судя по узкому коридору, комнате и кухне с окном на одну сторону, она была четвертинкой большой квартиры, которую лет эдак семьдесят назад разрезали перегородками еще на несколько частей. Их устраивала и такая: квадратная комната с двумя окнами, пока еще пустая и потому гулякая, кухня с водогреем, и особенно очаровательные коридорные антресоли — длинная темная кишка, внутри которой можно было встать в полный рост. А рост у Гоши был немалый — метр восемьдесят два.

Теперь Гоша расчищал их, чтобы закинуть туда коробки с книгами и прочие вещи не первой необходимости.

— Могли бы и сами свой мусор убрать, — ворчал Гоша, скидывая с антресолей мешок со старыми ботинками, — воняют-то как!

За мешком последовали связанные шпагатом пожелтевшие рулоны обоев. Последние могли пригодиться как подстилка на пол при ремонте. Но сейчас Гоша хотел просто немного пожить, а ремонт делать постепенно и тщательно. По его мнению, основной смысл ремонта состоял в очистке квартиры от следов существования многочисленных прошлых жильцов. То, что их было немало, он заметил еще когда впервые пришел в эту квартиру, будучи одним из потенциальных покупателей. Он долго разглядывал капустные листья обоев, отслоившихся в комнате возле дверного косяка. Обои — словно кольца дерева, нарастающие, как правило, со сменой обитателей. Продавцы, решив было, что Гоша пытается найти повод скинуть цену, принялись убеждать: «Вы не смотрите, что обои здесь отходят, сама стена-то вон какая ровная, и на потолке ни потека, ни трещинки». «Я на другое смотрю», — сказал тогда Гоша. Он сосчитал пять явных слоев жизни, было время желтых, продолжившееся желтыми, но другого оттенка, затем малиновых, затем, словно по контрасту, зеленых, которые сменили розовые с крупным белым рисунком каких-то античных зданий.

Эти розовые, видимо, висели не один год: возле окна они совершенно выцвели, а там, где раньше стояла мебель, остались более темные и насыщенные розовым следы, словно тени бывших шкафов и комодов. В одном месте, возле уже несуществующей

щего дивана, жир и грязь человеческого существования сделали стену не только темной, но и блестящей.

У Гоши и Нины мебели почти не было.

Зато у них были: книги в семнадцати коробках, две коробки с компакт-дисками, два рюкзака и три больших полиэтиленовых мешка с тряпьем. Еще диванный матрас без дивана, ноутбук, стационарный компьютер и музыкальный центр.

Гоша продвинулся вглубь антресолей и продолжал подавать Нине разные вещи.

— Ого... Это, кажется, кинопроектор... Тут и пленки есть! — донеслось из полутьмы. — Сможешь принять? Нет, лучше я сам.

Он спустился вниз с коробкой, из которой извлек древний хромированный агрегат.

— Мы пока не будем его выбрасывать, вдруг он работает. Это же антикварная штукавина. Сейчас проверим.

Однако проверять не стали — решили, что сначала следует закончить с расчисткой и упаковкой, а потом уже заниматься новыми игрушками. Антресоли вместили почти все — и зимние вещи, и книги.

— Ну вот, у нас комната, как в Японии, минимум вещей, — довольно сказал Гоша, оглядывая прибранную, вымытую комнату, в углах которой стояли компьютер с двумя ковриками — одним маленьким — для мышки, другим большим — для лежащего перед клавиатурой человека, музыкальный центр и извлеченный с антресолей проектор. Последний угол занимал матрас и ноутбук.

— И ремонтировать удобно, — продолжил Гоша, — оклеим стены белой бумагой, сделаем потолок, и можно жить. Только вот матрас мы зря привезли. Спать надо на циновках. Слушай, давай выкинем матрас.

— Вот когда поклеим стены и потолок, все выкинем, — ответила Нина, — а сейчас я хочу спать на нем.

Гоша тем временем начал обследование пленок и проектора.

— Курица Доза, — прочитал он вслух надпись на одной из коробок. Остальные были без надписей. Алюминиевые, круглые, чем-то похожие на мины. Гоша видел эти мины то ли в музее, то ли в кино, и теперь, открывая, отчетливо предста-

вил, как словно в замедленной съемке коробка разлетается на мелкие кусочки, затем взрывная волна вышибает двери и окна, обрушивает стены. Но из коробки вывалилась катушка и покатила по полу, распуская темно-коричневый, полосатый шлейф пленки. Гоша поймал хвост и посмотрел сквозь него на свет.

— Смотри, — он повернулся к Нине и двумя руками протянул ей развернутую пленку, — кажется деревья... ребенок на велосипеде.

— Так ничего не разобрать. Нужна лупа. Или проектор запустить.

— Конечно. Даже если он не работает, я хочу посмотреть. У меня есть знакомый с похожим старинным проектором.

Гоша сам довольно быстро разобрался с агрегатом. За барабан завести пленку, в эту щель засунуть, этой планкой прижать — для человека, имеющего техническое образование и третий год ремонтирующего своими руками гораздо более навороченные механизмы, задача вовсе не сложная.

Проектор оказался действующим. Без пленки он гудел и стрекотал, а когда ее заправили, добавился еще и скрип. Все эти механические звуки, не раздражали, они казались живыми — стрекот кузнечика, гудение ветра... Булавками Гоша закрепил на стене простыню, выключил свет.

Сначала шла пустая пленка — в желтом прямоугольнике, на складках самодельного экрана, похожего на заснеженный склон горы, — дождь из царапин, затем складки стали незаметны, потому что поверх них появились деревья, стоящие вдоль дороги, мальчик в панамке на трехколесном велосипеде.

Мальчик ехал сам по себе и не смотрел в камеру, он смотрел в сторону идущего сбоку от него человека, чья тень лишь краем попадала в кадр. Мальчик улыбался и даже что-то говорил. Он становился все ближе, заполняя экран. Затем камера медленно поднялась, ушла вбок, в кадре мелькнуло нерезкое пятно панамки, теперь мальчик удалялся, и стало понятно, что снимал взрослый довольно высокий человек, который, когда ребенок проезжал мимо, встал и пропустил его.

Потом пленка оборвалась, и катушка стала крутиться впустую, щелкая обрывком по аппарату. Гоша остановил агрегат, снова заправил свободный кусок пленки и подклеил его скотчем к тому, что на катушке.

— Интересно, сколько лет сейчас этому мальчику? — спросила Нина.

— Снимали, я думаю, в восьмидесятые. Значит, сейчас ему... Погоди... — Гоша взял в руки коробку. — Тут должна быть дата изготовления... Свема. Тысяча девятьсот восемьдесят второй. Значит, снято не раньше. Получается ему сейчас около тридцати. Наш ровесник.

— Если коробка от этой бобины...

Следующий сюжет представлял какое-то абсурдное черно-белое кино в стиле немых фильмов начала прошлого века. Всю сцену — камера, судя по всему, стояла на штативе, и съемка производилась с одной точки — занимали коричневое массивное тело шкафа и постель, накрытая темным покрывалом. К ней со стороны камеры подошла темноволосая, коротко стриженная девушка в белой ночной рубашке, скинула покрывало в сторону, за кадр, и легла под одеяло. Белые подушки, белый пододеяльник. Камера показала крупным планом ее лицо — гладкая кожа, длинные ресницы, большие глаза. Грим делал его контрастным, кукольным.

Затем в комнате появился человек в спецовке, ватнике и с деревянным плотницким ящиком, из которого торчали ножовка, рукоять топора и целый букет ручек каких-то более мелких инструментов. Плотник поставил ящик возле кровати, разделся до трусов и майки, повесил одежду в шкаф и с головой нырнул под одеяло.

— Сейчас начнется, — сказал Гоша.

— Что начнется?

— Секс с применением инструментов.

Но Гошины прогнозы не оправдались. В комнату вошел еще один мужчина с усиками и в офицерской форме. Он отодвинул ногой ящик с инструментами, поставил рядом с ним свой дипломат, разделся, повесил одежду в шкаф, положил на верхнюю полку фу-

ражку, портупею и пистолет в кобуре и полез в постель вслед за рабочим. Предположение Нины, что это муж, а плотник — любовник, было опровергнуто следующим эпизодом, когда в кадре появился третий гость, в костюме, с портфелем и в аккуратных очках, судя по всему — чиновник или научный работник.

— Ну, просто Гоголь, а барышня — прекрасная Солоха, — расмеялся Гоша, — дьячка, правда, не хватает.

Священник тоже появился, пятым в этой странной очереди, после врача в белом халате.

— Когда же они закончатся? — спросила Нина на десятом персонаже. — У нее просто бездонная кровать.

— Думаю, когда закончится пленка, — уверенно ответил Гоша.

Однако одиннадцатый мужчина не пришел. Камера опять крупным планом показала лицо женщины. Она улыбнулась. Затем встала — все ее гости успели исчезнуть в белых глубинах кровати. Она подошла к шкафу, критически осмотрела его содержимое, выудила из массы мужской одежды легкое летнее платье с короткими рукавами и крупным цветочным узором: камера выхватила серые ромашки на светлом фоне, цвета можно было угадывать, но Гоша был уверен, что платье — голубое, а на нем — золотые ромашки. Взгляд камеры медленно последовал за ней, через оставленные гостями портфели, коробки и даже протез, трость и рюкзак (один из гостей был туристом, а другой — одноногим инвалидом) и остановился на шторе, за которой просвечивало окно. Женщина скинула ночную рубашку, встала на цыпочки, потянулась и на мгновение застыла — темный обнаженный силуэт в прямоугольном проеме. Затем через голову надела платье, раздвинула шторы, отчего в кадр хлынул яркий свет, стирающий все, что было в комнате. Он оборвался полной тьмой, и на экране появились титры:

«ПЕРЕД СМЕРТЬЮ ВСЕ РАВНЫ»

Да, — сказал Нина, — вот тебе и объяснение. Веселый фильм. Ни имен актеров, ни режиссера...

— Та-та-та, та-та, — пропел Гоша, — тара-ри-ра, та-та-та, я представляю, какая музыка подошла бы к этому фильму.

— А ведь это наше окно в фильме. Снимали здесь, — сказал Гоша

— Потому и пленки здесь.

— Интересно, остальные такие же...

— Думаю, «Курица Доза» в том же духе.

Следующий фильм оказался банальной съемкой какой-то свадьбы. Стриженный молодой парень в галстук и костюме, невеста в белом, судя по фигуре, уже беременная. Нет ничего скучнее, чем смотреть чужие застолья. Гоша поневоле стал озвучивать действие, вставляя непристойности в уста родственников жениха и невесты.

— Гош, заткнись, не смешно, — сказала Нина.

— Не смешно смотреть на все это...

— Стоп. — Она вдруг взяла и сильно сжала его руку. — Смотреть, смерть.

— Где? — Гоша остановил проектор.

— Вон, возле дверей. Можешь вернуть назад?

Гоша отмотал пленку. Действительно, в дверях, прислонившись к косяку, стояла актриса из предыдущего фильма. Она была в том же летнем платье в ромашках, только поверх накинута кофточка. Плюс темные колготки и туфли на высоком каблуке. Она не садилась за стол, ни с кем не разговаривала, казалось, лишь наблюдала за происходящим. Затем камера переместилась, и больше на протяжении всего остального фильма эта девушка в кадре не появлялась.

— Ничего удивительного, — сказал Гоша, — она, должно быть, подружка снимавшего. Другие смотреть будем?

— Давай в другой раз. Я чего-то устала.

И вопреки недавним утверждениям, что «на новом месте я плохо засыпаю», Нина почти мгновенно провалилась в сон.

Гоша долго петлял в поисках нужной улицы. Он искал интернат для душевнобольных — его адрес дала бывшая владелица квартиры, которой он позвонил по поводу пленок. «Владик снимал все эти фильмы, — пояснила она, — это мой племянник, но он уже несколько лет как в интернате. А пленки теперь никому не нужны». Когда же

Гоша выказал желание его навестить, женщина обрадовалась: «Мне тогда в выходные не надо будет ехать, только я вас еще попрошу купить Владиду продуктов...». Далее последовал длинный список продуктов, которые следовало привезти ее родственнику. И теперь на своем стареньком «опеле» Гоша рассекал лужу за лужей. Что его побудило начать это странное расследование и привело в пригород, где улицы совсем не по-петербургски искривлялись, переплетались друг с другом, затягивая в узел дома и парки, Гоша не мог объяснить даже сам себе. Карту Гоша выбросил несколько месяцев тому назад, когда последний раз делал уборку в машине, а навигатором обзавестись не успел. Люди, к которым он обращался, притормаживая на перекрестках и возле остановок, указывали разные, порой противоположные направления. Сумасшедший город — неспроста в нем поместили этот интернат. И наконец, он таки подъехал к решетчатому забору, за которым просвечивало нужное ему желтое двухэтажное здание. Гоша читал, что в Питере большинство домов было выкрашено в желтый цвет — иллюзия солнца вечно пасмурную погоду. Вовсе не так. Белый дом — правительство, серый — спецслужбы, а желтый — сумасшедшие. Безумие повсюду. Поэтому большинство домов у нас желтые. Причина опережает следствие. В отличие от дурдомов интернат охранялся лишь вахтершей в будке у ворот и был, скорее, похож на школу или детский сад, чем на лечебное заведение.

Гоша без проблем миновал вахтершу и вскоре уже поднялся по лестнице на второй этаж, к палатам. За неделю до поездки он успел изучить все остальные пленки. У Нины «висел» очередной отчет, она появлялась дома лишь поздно вечером, поэтому большую часть фильмов Гоша смотрел в одиночестве. И во время просмотров несколько раз ловил себя на том, что в каждом кадре он ищет девушку, игравшую смерть в странном любительском фильме. Но ни в одном из роликов, в основном посвященных жизни некоего семейства, ее не было. Невеста, судя по всему, стала мамой мальчика с первой пленки. А «Курицей Дозой» оказался фильм, посвященный поездке по Крыму и какому-то пикнику, на котором компания неформалов времен восьмидесятых жарила над углями костра курицу.

В холле его поймал за рукав маленький старый сморщенный человечек в пижаме.

— Мой друг пришел, — заявил он громко и радостно, — гостинцев мне принес.

Он подвел не успевшего ничего сообразить Гошу к креслу, где сидел с книгой то ли посетитель, то ли обитатель этого дома. На нем были джинсы и полосатый свитер.

— Коля, ко мне друг пришел, гостинцев принес.

— Отвянь, — безразлично ответил человек в свитере.

Гоша увидел в конце коридора, за столом, сестру в белом халате и поспешил к ней.

Маленький человек семенил рядом.

— Дай мне чего-нибудь вкусенького, — просил он — дай, пожалуйста.

Гоша уже полез в мешок, чтобы достать банан или йогурт, но медсестра жестом его остановила.

— Сережа, — строго сказала женщина, — молодой человек пришел не к тебе. Отстань от него.

Затем переключилась на Гошу:

— Вы к кому?

Гоша вспомнил девушек, работавших в больнице на Пряжке, куда он однажды зашел навестить своего приятеля. Симпатичные смешливые девчонки в коротких халатах — то ли студентки, то ли недавние выпускницы медучилища. Было нечто легкое, эротическое во всем их облике, совершенно не гармонирующее с тяжелым воздухом и бесполой атмосферой дурдома. Эта же была строга и серьезна.

Но когда Гоша сказал о Владиславе, ее суровое лицо потеплело, и она стала похожа на добродетельную крестьянку. Гоша объяснил, что является дальним родственником Влада.

В палате Владислава пахло подгоревшей овсяной кашей. Гоша помнил это запах с детства — стандартный завтрак: тертая морковь, овсянка на молоке или творог — мама часто торопилась, пыталась успеть сделать сразу несколько дел, и каша либо убегала, либо подгорала.

Влад оказался именно таким, каким его представлял Гоша — длинным, худым, плохо выбритым, лысоватым мужчиной. Он сидел на кровати, опустив глаза в пол.

— Владик, к тебе пришли, — сказала сестра-крестьянка.

Владик безучастно посмотрел на Гошу.

— Владислав, здравствуйте, — начал Гоша, — Ольга Викторовна сейчас загружена работой и попросила меня вас навестить. Она приедет в следующий раз.

Владислав молчал, только выражение его лица стало более заинтересованным.

Гоша достал полиэтиленовый пакет и начал выкладывать бананы, йогурты, бутылку пепси-колы, коробку печенья, последний номер журнала о кино.

— Я смотрел ваши фильмы... — сказал Гоша.

Владислав вяло махнул рукой.

— Я уже давно ничего не снимаю. Здесь нельзя.

— Они очень интересные. Например, «Перед смертью все равны».

— Ничего особенного.

— Мне очень понравилась главная героиня, которая играла смерть. Вы с ней общаетесь? Не знаете, что с ней сейчас?

— Я не знаю, — спокойно ответил Владик, — и не хочу ее знать. Я ничего не снимаю. Можно я сейчас поем.

Владик налил себе в чашку колы и принялся чистить банан, уже не замечая гостя.

Гоша вышел на улицу и направился к своей машине. Когда он переходил дорогу, из-за автобуса, притормозившего, чтобы пропустить Гошу, выскочила ауди. Он успел заметить краем глаза нечто красное и большое, затем мир опрокинулся. Боли Гоша не чувствовал, бесконечный птичий крик плыл над асфальтом.

Гоша видел колеса автомобиля, изящные женские ноги в изящных туфлях и край летнего платья — розовые ромашки на более светлом розовом фоне. Женщина склонилась над ним.

Он узнал ее саму и ее платье. Но...

— Он жив, — кричали птицы, — он дышит!..

— Не те цвета... — прошептал Гоша.

Рот женщины беззвучно открылся, и невидимые птицы закричали:

— Что? Что?

И Гоша повторил уже более внятно:

— Не те цвета.

ПЯТЬ ВРЕМЕН ГОДА

(четыре зарисовки на одну тему)

ДРЮПА: ВЕСНА

Он не любил синюю школьную форму, сшитую из довольно прочной ткани, однако сшитую так, что вскоре брюки разрывались сзади по шву, а от пиджака отлетали рукава. Но самое неприятное — стоило вспотеть, и появлялись белесые солевые разводы вокруг подмышек. К тому же потел Дрюпа как-то странно — пот ручьями выходил через подмышки, а тело оставалось сухим.

— Дрюпа у нас уникам... Ссыт подмышками, — издевался Колян.

В ответ на эти слова Дрюпа делал ему мощный апперкот. Колян летел к стене и медленно сползал вниз. В его глазах, насмешливых, наглых, появлялся ужас, он понимал, какое смертельное оскорбление нанес Дрюпе. Затем Колян писался со страху, и большая вонючая лужа растекалась под ним. Громкий смех звучал повсюду. Но смеялись над Дрюпой, почему-то всегда смеялись над Дрюпой.

Слезы успели высохнуть. Дрюпа стоял дома перед зеркалом по очереди изображая то себя, то Коляна. Сцена поединка с каждым разом становилась все более смешной, и злость постепенно растворялась между этим миром и зазеркальем.

Так было вчера. А сегодня форма выстирана, высушена, и нет предательских разводов. Колян попросил списать домашку по математике, и Дрюпа, человек, в принципе, не злопамятный, сунул ему свою тетрадь. Но на следующем уроке Раиса, математичка и завуч в одном лице, не стала проверять домашние работы, а

выстроила весь класс в коридоре для ежемесячного «внешнего осмотра», который спасал от двоек, но не спасал от потоков ее гнева.

Две шеренги — мальчиков и девочек — стояли лицом друг к другу вдоль натертого до блеска коридора. Завуч молча расхаживала между рядами, она ждала, когда стихнет последний смешок, последний шепот, она ждала абсолютной тишины.

«Как перед грозой», — подумал Дрюпа. Паркетная елочка напонила ему мелкие волны, а проход между рядами превратился в речку на даче, где летом они с Пашкой ловили рыбу. Девочки напротив были зарослями притихшего тростника. Только Раиса, расхаживающая по поверхности воды взад и вперед, казалась совершенно лишней. «Будем считать ее щукой» — решил Дрюпа. Он не слушал, что говорит Раиса.

Завуч повернулась к нему спиной. В синем строгом костюме она походила на внезапно постаревшую школьницу из «Сказки о потерянном времени». «Ничего в ней нет от щуки. Разве только голос. Если бы щуки могли говорить, они, наверное, говорили бы таким голосом».

Вскоре «не слушать» Раису стало невозможно. Постепенно распалившись, она уже не говорила, а кричала...

— Что это за боевая раскраска?! — вопрос, а точнее, поток возмущения, был направлен на Машку Королькову.

Дрюпа не видел лица одноклассницы, обзор загораживала фигура завуча. Но «боевая раскраска», как и все в Машке, Дрюпе нравилась. Перламутровые ногти Машкиной соседки Любы Широковой заставили Раису перейти на визг. Девочка что-то тихо возразила. Шлеп! Завуч ударила ее по щеке. Такого еще не было... Ропот прокатился по рядам. Девочка, закрыв лицо руками, отошла к окну. Дрюпа вдруг заметил, что костюм Раисы не синий, а серый — военная форма, перепопоясанная кожаным ремнем. Ему в глаза бросилась черная нашивка с двумя желтыми молниями на рукаве завуча. Нет, не завуча, надзирательницы концлагеря. В ее левой руке блестел тяжелый восьмизарядный вальтер, а в правой — змеился длинный хлыст.

— Это что за боевая раскраска. — Раиса хлестнула Машку, и хрупкое, хотя у Машки не такое уж хрупкое, но здесь, от недоедания и мучений, оно стало хрупким, тело перегнулось пополам... Дрюпа уже не сомневался — рано или поздно Раиса уничтожит каждого.

Они стояли в два ряда напротив друг друга в длинном проходе между бараками, с обоих концов которого находились пулеметные вышки. Моросил мелкий дождь, и шаги надзирательницы заставляли трепетать коричневую воду в луже под ногами. И не только воду. Однако Дрюпа знал: сегодня, сейчас, должно случиться... В его руке был камень. И в руке Серого. И в руке Митьки. «Сегодня или никогда..». Дрюпа бросил взгляд в сторону вышки. Ему хорошо был виден профиль охранника. Но дуло пулемета смотрело в их сторону. «Ударить и успеть выстрелить из ее пистолета...». И Дрюпа прыгнул...

Оглушенная камнем надзирательница упала. Дрюпа вырвал из ее руки пистолет и выстрелил в пулеметчика. Тот, перегнувшись через перила, полетел вниз. Но в это время, выбивая из-под ног заключенных комья глины, загрохотал второй, дальний пулемет.

Они побежали в сторону леса, прижимаясь к стенам бараков.
— Помогите, — Дрюпа услышал позади голос Машки.

Вой сирены не мог заглушить ее тихой просьбы. Дрюпа развернулся и протянул руку...

— Опять спишь, Максимов... Это что у тебя... — палец Раисы указывал на ботинки Дрюпы. — Марш в туалет!

«На то и обувь, чтобы пачкаться», — молча возразил он и направился в конец коридора. И здесь Дрюпе не везло: в туалете, на исписанном и изрезанном до грязно-серого цвета подоконнике сидел Комар. Он был не один — за белой фанерной перегородкой, отделяющей писуары от унитазов, друзья Комара кого-то «учили».

— Попробовал водички, бля... Попей еще... — Дрюпа узнал голос Костика из шестого «В».

«Словно все сговорились. Такой, видно, сегодня день..». Дрюпа мысленно приготовился если не к избиению, то, по крайней мере, к выворачиванию карманов.

Но Комару было не до него.

- Вали отсюда, — донеслось с подоконника...
- Меня Раиса отправила... Ботинки мыть...
- Я неясно сказал?! Вали...

И Дрюпа свалил... На какое-то мгновение его рука вновь ощутила тяжесть пистолета. Дрюпа распахнул дверь ногой и выстрелил... Комар и его подручные, дрожа от страха, упали на колени. Они молили о снисхождении, а тот, над кем они издевались, восхищенно наблюдал за действиями Дрюпы.

— У него просите прощения. — Дрюпа кивнул в сторону обиженного, чем-то очень похожего на самого Дрюпу...

«Нет, не так.» — Дрюпа шел вниз, в туалет на втором этаже, и вслед ему неся раздробленный на отдельные гулкие звуки длинной кишкой коридора и приглушенный полуприкрытой дверью, голос Раисы. Дрюпа спускался по лестнице в чудесную пещеру, скрытую глубоко под землей. Почти каждая ступень этой лестницы таила опасность, почти каждая хитроумным образом была связана со смертельной ловушкой: неосторожный шаг — и пролет доверху заполнялся водой... Или острые ножи разрезали путника... Или тяжелые камни сыпались на его голову... Или огненная пасть открывалась в стене, чтобы пожрать его. Но Дрюпа знал тайны этой лестницы, знал безопасный путь к пещере, где находился бесценный алмаз по имени Зеленый Дракон. На Дрюпе была старая широкополая шляпа и белая куртка с цифрой «7» на спине, эта цифра приносила ему счастье...

Голос Раисы становился все глуше. Вскоре его вытеснили звуки ритмичной музыки, которая, просачиваясь откуда-то снаружи, сквозь стены, помогала Дрюпе перепрыгивать через опасные ступени.

— Гоп. Гей-гоп... Гоп. Гей-гоп...

Он не знал, о чем эта песня, но слышал ее название: «Миссис Вандербилд». Миссис Вандербилд жила в густом лесу, в окружении ручных зверей, прекрасная миссис Вандербилд, которой он принесет «Зеленого Дракона».

В нижнем туалете пахло одновременно табачным дымом и весенней свежестью — окно было распахнуто настежь.

«Гоп. Гей-гоп..», — доносилось со строительной площадки.

Там, за белыми бетонными нагромождениями, жила миссис Вандербилд, и рос тропический лес, и бегали по ветвям обезьяны, которые весело смеялись в конце песни. Так весело, что Дрюпа не смог удержать улыбки.

весна, 1995

КРИСТОФЕР: ЛЕТО

Вот дверца распахивается, Кристофер произносит свое традиционное «большое спасибо», спрыгивает на землю, подхватывает Галку, захлопывает дверь, машет рукой вслед машине, а что делает Галка, я не знаю, видимо, отходит в сторону, на самый край, обочину обочины, где сквозь песок пробивается трава, и поправляет ремешки сумки, съехавшие с плеча во время прыжка.

Кристофером его нарекли недавно, в Питере, две молодые, пионеристого вида, девчонки, которые всем своим знакомым, в соответствии с характером и внешностью, давали прозвища из «Винни Пуха и всех, всех, всех». Однако из всех-всех-всех этих имен прижилось лишь одно — Кристофер Робин. Впрочем, я знаю некоего волосатого по прозвищу Винни Пух, появившегося задолго до Кристофера. Я говорю «знаю», а не «знал», хотя прошло уже более десяти лет с момента нашей последней встречи. Ходили слухи, что Пух женился на голландке и где-то в Амстердаме торгует картинами, ходили слухи, что он сторчался и не вылезает из Рыбинского дурдома, разные слухи ходили, но во мне не наследили. Возможно, он просто перестал быть «стариком Винни», превратился во вполне цивилизованного человека и живет себе поживает да добра наживает...

Итак, Кристофер едет стопом с одной из этих девчонок, Галкой в... Предположим, что они направляются к югу. Мне хорошо знакома и Московская, и Киевская, и бог знает какая трасса, поэтому отправить их я могу куда угодно, хоть к Индейцу в Мур-

манск или к Энди в Петрозаводск. Но, скорее всего, они едут по Киевской трассе из Питера в Крым, где теплое море, фруктовые сады и множество других кайфов, о которых в нашем сыром холодном городе всегда приятно думать.

Улыбка давно покинула веснушчатое лицо Галки, и теперь она обреченно стоит рядом с Кристофером и провожает, точнее, сопровождает долгим взглядом каждую машину. Ветер от пролетающих мимо тяжелых грузовиков треплет ее одежду, и всякого рода фенечки приятно позвякивают, постукивают. Правда, слышать это может лишь сама Галка: их тихие голоса быстро теряются в грохоте трассы.

Поток машин, как всегда, неравномерен: то дорога в течение несколько минут пустынна, то по ней тащится целая вереница, возглавляемая какой-нибудь груженной бревнами шаландой.

— Пжо, — бормочет Кристофер, вглядываясь в очередную забитую людьми легковушку, — без мазы.

— Все едут на дачи... — печально добавляет Галка, — пойдём, что ли... Мне влом стоять возле этого болота.

Что такое ПЖО, знает уже несколько десятков человек. Это слово некогда придумал Фил. Ныне он не вылезает из своего дома дальше ларька с пивом или тещино садаводства. ПЖО расшифровывается так: «Полна Жопы Огурцов». Это цитата из анекдота про Чапая. Не московского человека по прозвищу Чапай, а настоящего Чапаева, легендарного героя Гражданской войны. Так вот...

Однажды Фурманов загадал Чапаеву загадку:

«Василий Иванович, что такое два конца, два кольца, посередине винтик».

Думал Чапай, думал, наконец не выдержал:

«Не знаю».

«Ножницы это, Василий Иванович, — отвечает Фурманов. — А хотите еще загадку?»

«Давай!»

«Дом без окон, без дверей, полна горница людей».

Смутился прославленный витязь:

«Не знаю», — говорит.

«Огурец это, Василий Иванович».

«Ну, — думает Чапаев, — пойду Петьке загадаю, пусть поло-
мает голову».

Нашел Петьку, говорит:

«Слушай Петька, какую загадку мне Фурманов загадал: дом
без окон без дверей, полна жопо огурцов».

«Вовсе и не смешно», — скажет кто-то, а кто-то и улыбнется,
но ни тот ни другой не поймут, что в этой истории под видом
загадки скрыт дзенский коан, а Петька не кто иной, как ученик
Чапая, аскета-отшельника, пытающийся обрести природу Будды.

И можно часами стопить, обзывая каждую забитую людьми маши-
ну «ПЖО» — от этого она не остановится. Но если искать в ПЖО нечто
большее, чем железную коробку полную людей или диалог учителя с
любимым учеником, то время на трассе проходит, не задевая тебя.

Еще одно достойное занятие — гадать на номерах проезжаю-
щих мимо машин. Теперь труднее определить по номеру принад-
лежность автомобиля: ЛЕМы, ЛЕВы, ЛОСы, МОСы, ПСы сменились
кодами городов: Питер — 78, Москва — 77, Псков — 60, белорусы
вообще придумали красные номера. Но Кристофер гораздо лучше
меня разбирается в этих новых знаках. Итак, Кристофер и Галка едут
на юг и застряли около Пскова — на самом неприятном и трудном
участке Киевского тракта. Тут я слышу возражения какого-нибудь
«олдового стопщика»: «Что ты вообще гонишь, папа! Какой юг! По
этой дороге ничего кроме обломов! Надо — через Москву, Харь-
ков, и т.д., а не по долбаной Киевской трассе».

И он отчасти прав: после Киева путь распадается на целую горсть
дорожек, раскрытую ладонь, кончики тонких, как паутинки, пальцев
которой сходятся в Джанкое. Да и стоп на Украине хуже, чем в России...

«Ну и что, — возражу я, — пусть харьковская трасса и пря-
мая, и машин на ней в несколько раз больше, но зато эта — при-
ятнее. К тому же после Киева появляется возможность подняться
над отбором и выбором: путь выбирает за тебя сам Господь Бог.
А за Киевом будет городок с прозрачным названием Алексан-
дрия, или пыльный, бесконечно растянутый вдоль дороги Кри-
вой Рог, или некогда вольное, а ныне ошетилившееся трубами
Запорожье, или Херсон, и будет дорога, по которой легко идти,

шаг за шагом, нанизывая слово на слово и отпуская это ожерелье на теплый южный ветер».

Они прошли около километра и теперь снова стоят на обочине. Галка рисует на песке, рядом с уже нарисованным ею пачификом, стрелку, ведущую в сторону юга, стрелку в сторону стрелки где-нибудь в Киеве или Коктебеле. Стоять они будут еще долго: час или два, а дальше стемнеет... В темноте же в нынешние времена вообще никто не остановится.

Я хорошо помню «старое доброе время», когда длинные волосы были для ментов, как красные тряпки для быков, когда красные тряпки висели повсюду, а золотой бык еще не топтал наших дорог, когда, открывая дверцу КамАЗа, после слов «в сторону того-то того-то или туда-то туда-то» не нужно было добавлять «я не смогу заплатить», водители понимали, что у тебя нет денег. Теперь же, в ответ на обязательное «я не смогу заплатить», можно услышать «чаво!?» или «что!?!», или просто слететь с подножки резко рванувшего грузовика. И все больше пустых пролетает мимо, превращая стопщиков в живые ветряные мельницы.

И вот одна из таких «мельниц», Кристофер стоит на обочине, то указывая большим пальцем в облако, висящее над трассой, то просто размахивая рукой, а Галка заравнивает ботинком недавно нарисованную стрелку, ибо ни эта стрелка, ни какой-либо другой знак не могут остановить ни машину, ни время, которое напоминает о себе, передвигая и удлиняя тени: солнце скоро зайдет и опустятся сумерки. (Почему мы говорим «опустятся сумерки» — ведь чем выше — тем светлее. Сумерки приходят снизу, от теней, брошенных нами на землю, поэтому правильнее сказать «поднимутся сумерки»). А пока машины в большинстве своем еще не включили фары (впрочем, есть и такие, что даже днем ездят с горящими фарами).

— Может здесь перенайтывать, — Галка кивает в сторону довольно заманчивой лужайки на холме, — комаров немного.

Кристофер наклоняет очки и приглядывается. Эти очки (с круглыми стеклами, в металлической оправе а ля Джон Леннон, единственная дорогая вещь, ставшая уже неотъемлемой частью самого Кристофера) чуть слабее, чем требуется, и поэтому, что-

бы разглядеть лужайку, приходится слегка наклонять их или оттягивать угол века.

Лужайка действительно великолепна: в косых лучах заходящего солнца трава стоит прямо, отбрасывая резкие глубокие тени. Кристофер вдруг понимает, что не сможет отправиться туда: сломав даже одну травинку он разрушил бы мир, перевернул порядок вещей.

— Разбился бы кувшин у источника, и порвалась серебряная нить... — бормочет он.

— Что? — Галка непонимающе смотрит на него.

— Здесь спать не в кайф, утром роса будет... Нам бы вписаться в какой нежилой дом. Давай еще постопим...

И они медленно бредут по обочине на юг, улитка Кристофер, для которого облако на горизонте — священная гора Фудзияма, и смешная птица Галка. Вдруг ее нога зацепляет что-то мелкое, звенящее.

Кристофер снова наклоняет очки, затем наклоняется сам и, наконец, поднимает обычную металлическую гайку. Она, видимо, не раз побывала под колесами: грани блестят, и нет на них ни грязи, ни ржавчины.

Кристофер смотрит сквозь дырку посередине на остаток красного солнечного блина, на деревья. Ему теперь не нужно манипулировать очками: по ободку отверстия пейзаж кристаллизуется, становится четким и ярким. Он передает гайку подружке.

— Это дар, — говорит Кристофер, — кольцо счастья.

И Галка, улыбаясь, смотрит в отверстие на мир. Затем пытается примерить на пальцы, но отверстие мало для всех, кроме мизинца, она надевает на мизинец, поворачивает.

— Смотри, в самый раз...

— Окольцевалась птица сама, — комментирует Кристофер.

Здесь следовало бы случиться какому-нибудь чуду, но происходит лишь одно: очередной КамАЗ останавливается, и бородастый, большой и толстый, похожий на медведя (вот кто действительно — Винни Пух) водитель распахивает дверцу.

— Быстрее, — кричит он, — не то уеду!

И они садятся, не успев объяснить, куда лежит их путь и что они не заплатят.

— А я думал, хиппи перевелись... — говорит водитель, трогая машину с места. Кристоферу не приходится даже захлопывать дверь, от резкого движения она закрывается за ним сама.

— Да мы не совсем, — Кристофер почему-то смущается, — мы просто едем на юг.

— Там тепло, там яблоки... Я бы и сам не прочь...

Водитель делает паузу, и в этот момент в разговор вмешивается Галка:

— А знаете, почему вы нам встретились?

— Ну?

— Вот из-за этого, — она протягивает ему на раскрытой ладони гайку, — мы три часа стояли на трассе, а стоило ее подобрать, появились вы.

— Возможно... — Винни Пух улыбается.

Она кладет гайку на полочку перед лобовым стеклом. Там обычно находятся разные мелкие вещицы: нужные и ненужные бумажки, какая-нибудь игрушка, стаканчик с авторучкой или сигареты. Теперь эту компанию дополняет тускло поблескивающая гранями гайка.

Постепенно наступает темнота. Водитель намерен к утру быть в Гомеле, потому что утром надо разгрузиться и назад, а значит, ехать они будут всю ночь. В машине имеется старенький магнитофон и, к радостному удивлению Кристофера, кассеты Дорс, Боба Марли, Эрика Клэптона, Дженис Джоплин — набор разнообразный, но большей частью приятный. (По моим наблюдениям, среди дальнбойщиков популярны совсем другие имена: Алена Апина и Шуфутинский есть почти у каждого). Всю ночь, под тихую музыку, под теплое бормотание двигателя, под вспышки ночных насекомых в свете фар, тянется неторопливый разговор, и лишь под утро Кристофер присоединяется к давно заснувшей Галке и проваливается в полудрему. Что ему снится, я не знаю, но просыпается он, когда машина начинает замедлять ход.

— Здесь, ребятки, мне прямо, — говорит водитель, — а вам дальше туда, — он кивает в сторону белеющей в полутьме трассы.

Они вновь оказываются в сумерках, правда эти, в отличие от вечерних, более голубые, и цвет полос на горизонте не красный а золотой. Машина отъезжает, но вдруг, весело вспыхнув задними огоньками, останавливается.

— Гайку забыли, — кричит водитель.

Пока сонный Кристофер пытается понять, о чем идет речь, Галка успеваеет ответить:

— Оставьте ее себе... На счастье.

И они идут поеживаясь от утреннего холода вдоль пустынной обочины, тонкие и беззащитные, словно две случайно уцелевшие травинки посреди скошенного поля.

лето, 1995

ПИТ: ОСЕНЬ

Пит не думал. Его мысль, медленная, тяжелая, свернулась кольцом в скверике возле Казани и спала. Спала, подобно девочке на соседней скамейке, уткнувшей лицо в раскрытый лотос рук, змеиная чешуя бисерных фенечек небесно-голубого и белого цвета, куда, словно тени, вплетались две темно-коричневые полосы, обвивала ее запястье: белое — вода, голубое — небо, темное — земля... Нет лишь огня» — его мысль постепенно проснулась, распалась на множество каких-то мыслишек, одна из которых намертво прилипла к этой девочке. Наконец он нашел и красное — то ли красный платок, то ли высокий ворот футболки, выглядывающий из-под грязно-голубой джинсовой куртки... Ему вдруг показалось, что девушка плачет. «Нет, скорее, дремлет, — возразил Пит внутреннему двойнику, — в ожидании кого-нибудь». Сам он ждал Химика с «препаратом»: они собирались провести некоторое время втроем (Пит, Химик и «препарат»), только не было подходящего флэта, где можно было бы зависнуть на пару дней: у Химика — общага, у Дрюпы — предки... Даже

Химик не ведал, каков будет приход, и каковы ломки, и не съедет ли навсегда крыша, и не придет ли та, старая, с косой... «Нет, к Химику придет не старуха, а милая девочка Люси из алмазных небес, может, чем-то похожая на эту, а ко мне». Его внимание на мгновение переместилось в сторону соседки: «Плачет или спит? Собственно, какое мое дело?»

«Можно вписаться к Робину, — он продолжил размышления, — только если у него нет этой страшной цивильной герлы, тьфу». Пит сплюнул: одно воспоминание о ней вызывало сушняк. Перед ним снова мелькнула ее здоровая белая рука, полная какой-то злобной энергии, белая акула, подхватившая со стола блестящую стеклянную рыбку с острым железным жалом на пять кубиков и швырнувшая в окно... Туда же полетела и банка, плод бессонных дней Химики... Дней, ибо Химик бодрствовал по ночам, а днем умудрялся учиться на химфаке, ведь он был настоящим химиком... Вслед за банкой отправились и они (Химик, Дрюпа и Пит), правда, по лестнице, а не через окно, и возвращаться, а тем более разбираться, ни у кого не было желания. «Ах, бедный мальчик Робин, ему завтра надо в институт», — только и сказал Дрюпа, растирая ногой по асфальту осколки алмазного неба, упавшие с пятого этажа.

Еще остался Костик-Художник, у того вечно пустая мастерская, кухня и комнатка с одним окном, наполовину заколоченным фанерой, но старик Костик, по его собственным словам, испытывает и-ди-о-синкразию как к машине, так и к колесам, только план-гандж-трава-марихуана-анаша да портвешок, который теперь не так просто найти, (где он — старый добрый тридцать третий, или три семерки, или белый аист — улетел), осталась водка в банках как из-под пива, и само пиво, остался Костик, в мастерской с окном, простреленным какими-то мафиози: они однажды вломился в мастерскую — тогда там на пару с Костиком работал Торчок, но его, виновника всех бед, не было, и они подступили к Костику: «Где банки?» Банки Торчок унес с собой, чтобы передать Химику, чтобы сделать сверхпрепарат, и эти обдолбанные жлобы подступили к ничего не подозревавшему Костику, и тот почувствовал сталь пера, готового войти между его ребер, представил горячее жало паяль-

ника в заднице, и голова Художника заработала быстрее — он закатал рукава, а может и штанины: «Вот, смотрите, я не тот, кого вы ищете, вы ошиблись, господа, видите, нет дырок, веняки чистые, я не нарком, я не ваш, а Торчок еще вчера скипнул куда-то». Костик не знал, что еще вчера Торчок забрел слишком далеко, туда, откуда не возвращаются: смерть явилась в виде жемчужины, маленького блестящего пузырька воздуха, случайно проскочившего в кровь. И жлобы, посмотрев на чистые, синие, проспиртованные вены Костика, отступили и чуть поубавили пыл и остервенение, переворачивая мастерскую: баночки с красками не сбрасывали и разбивали, а аккуратно ссыпали с полок или ставили на пол, и один вроде даже сказал: «Извини, парень».

Девочка сидела, уткнув лицо в ладони, и Пит снова подумал, что она плачет. Химик опаздывал, и Пит пересел поближе к незнакомке. «И чего это Химик нарисовал здесь стрелку, стремное место».

— Привет, сестренка, — произнес Пит.

— Привет. — Она опустила руки, и Пит окончательно убедился, что девочка просто дремала: обычное заспанное лицо, с розовым узором от ладоней на белой коже.

— Спишь? — спросил Пит.

— Сплю... — ответила она.

— Здесь стремно спать, — Пит вслух продолжил свою мысль, — мент на менте. Здесь вообще плохое место.

— Мне больше негде... Я тебя не знаю? — она больше спрашивала, чем утверждала.

— Меня зовут Пит... Ты откуда?

— Оттуда... — Она махнула рукой в сторону неба над Невским, в сторону Московского вокзала. — Меня зовут Люси. А ты?

— Отсюда... — Пит мысленно продолжил: «Не о твоём ли кислотном имени я только что думал, милая Люси, и не тебя ли Химик уже год пытается сделать..».

— Федула знаешь? — спросила Люси.

— Ломщика что ли?

— Ну...

Пит знал, о ком она говорит: это был старый сайгоновский человек, сохранившийся еще со времен системы, той самой, что

выдумали вездесущие журналисты. Это имя было где-то глубоко и уже полустерлось, перемешавшись с другими — где они теперь: Ломщик, Прайс, Солнышко, Красноштан, Шура Леннон...

— Ломщик дал мне пару вписок, но я обломалась звонить. — Она улыбнулась случайному каламбуру.

— Давно ты его видела? — спросил Пит.

Краем глаза он вдруг заметил, что к их скамейке приближается Химик, — у меня здесь стрелка с одним.

Химик следовал по кольцу, повторяя движение недавно спавшей Питовой мысли, исполняя некий причудливый замысловатый танец, как и подобает автору волшебных зелий, испытательному стенду собственных же препаратов, сверхчеловеку, познавшему и этот, и другой мир, плывущему, словно взрыв, точнее, след от взрыва, и вдруг Пит увидел, что каменный постамент за спиной Химики пуст, а Химик — вовсе не Химик, а статуя Баркляя...

— Эй, зачем ты нацепил на себя эту личину, — Пит рассмеялся и вдруг почувствовал, что смотрит на мир одним глазом, а другой закрыт странной пеленой, и вот, одним глазом, а значит, и одним полушарием, он видит Химику, а другим — Баркляя. Лишь Люси остается одна и та же, а все остальное накладывается, и вниз смотреть трудно, потому что кружится земля, и джинсы стесняют движение, нет, не джинсы, лосины, тугие белые...

— А откуда они?

— Как откуда, господин фельдмаршал, на левом французы снова атакуют... И пороховое облачко дыма плывет над коричневой выжженной равниной.

«Откуда все это и почему я не могу снять повязку с прилипшим пейзажем и Баркляем, и как мне вылезти? Помоги мне, ведь химик, химик, химик ты, ты ведь химик, химик...».

— У моей жабы свободно...

— Какая жаба, панкера вонючая, от...

— Ха-ха... Двинемся.

«Попробуй двинься, нет, не двинься, а передвинься, если ноги и руки каменные, и здесь доставать машину, но это же кинжал на тысячу кубов, а ноги разворачивают асфальт, здесь нельзя, здесь нас заментуют».

— Можно, Федя, можно, а знаешь, что нельзя?

И серый асфальт как лед хрустел под ногами, а Пит смотрел и смеялся, и толпа рассыпалась, разбежалась перед ним подобно волне, образуя чистое пространство.

«Да и как они могут меня заментовать, если я каменный, ха-ха».

Смех вышел глухим и утробным:

«Ха-ха-ха».

«Двинули, но я даже не двигался... А банки? Ах, банки, выброси их к черту... А Люси? Вот она, рядом, серый голубь на моем плече, что ты курлыкаешь мне в ухо, и кто мне загадил голову, ха-ха, я спрашиваю, впрочем, дождь отмоет мой медный лоб, давай, Барклай, давай вперед, по Невскому, смотри, сзади какие-то люди, пусть над их страной угроза, и нас снова зовет император... Что ты гонишь, несчастный, что ты гонишь, испугался бы сначала... Люси, ты должна нам помочь, ты должна нам помочь, ты должна полететь через это синее кристаллическое небо к самому императору, через эти алмазы с радостной вестью... Какой только? Я все время забываю, какой, все время, о, не надо наступать на людей, Барклай, не наступай, помнишь, голубь мой, была девочка из Тарту по имени Кая, кая — по-эстонски значит «чайка», помнишь, Барклай, светлая девочка, у нее еще собака, он ее убил... Кого? Каю, собаку? Нет, Кая летит сюда через пространство, через то время, когда ты, Барклай, был Химиком, а я был никем, через эти банки с препаратом, которые не нужны, смотри, как торчит народ, торчит лишь от одного того, что мы идем, ах, как мы идем, а Люси — Люси соберет наши души на полях, что вырастут в наших следах, смотри, Барклай, какие огромные у нас следы, смотри, как в них заглядывает солнце, или это светлая тень летящего голубя по имени Люси, знаешь, она сидела на скамейке, уткнув клюв в перья, а потом пересела на мое плечо, и знаешь, что мне нашептала эта птица: у драконов тяжелые медные крылья, и звенят они за нами, как плащи, и сверкают на солнце...

И пусть нам кричат, Барклай, что мы пустые, это неплохо, пустым легче взлететь, Барклай, пустым и чудесным».

осень, 1995

КАМЫШОВЫЙ ПЕС

Рыбаки поставили сети
на камышовых собак,
а они играют как дети
и не поймут никак,

что завтра разрежет воду
маленький теплоходик,
что речку зовут Свобода,
и дважды в нее не входят,

что аисты приносят счастье,
и всегда смотрят в лес волки,
что Камышовые Собаки
встречаются нечасто,
да и живут
недолго.

Сначала они сидели в кафе яхт-клуба, правда не в самом кафе, где на стенах цветные картинки с яхтами и видами моря, а снаружи — на большой террасе-балконе-площадке размером с четверть здания. Справа от Дрюпы сверкала река, позади — заводь, усеянная продолговатыми, похожими на семена телами яхт, слева — старые высокие деревья, а напротив... Напротив — Кэт и Петрович, за спинами которых — пустые столики, стекла и распахнутая дверь банкетного зала, полного людей и музыки. Аппаратура, словно не желая проигрывать какую-то русскую попсу, хрипела на басах. Однако на террасе звуки музыки рассыпалась и были не громче шума деревьев и плеска воды.

Тень крыши падала на столик, разбивая его надвое, переламывая плоскости, скрывая Дрюпиных друзей и выявляя самого Дрюпу — он находился на солнечной стороне. Вот уже минуту Андрей был занят наблюдением за игрой света, проходящего

сквозь бокал: прозрачное вино и стекло не могли удержать солнечные лучи, и они рисовали на его руке красное подвижное пятно. «Словно живое» — для Дрюпы оно было реальнее вина, которое он отпивал маленькими глотками, реальнее него самого, да и кожа под пятном была больше, чем просто кожа — она чувствовала нечто недоступное ни глазам, ни языку, ни пальцам.

— Смотрите, — сказал он, указывая на пятно кусочком хлеба, и на мгновение белый мякиш приобрел красный оттенок, — какой классный цвет.

— Реальный, — Пит словно уловил Дрюпины мысли, — кровь и плоть.

— А давайте станем братьями по вину, — продолжая разглядывать тень бокала, предложил Дрюпа.

— Можно, — согласилась Кэт, — но как это?

— Элементарно... Возьми тень моего вина.

Она протянула руку к свету, и Дрюпа переместил красное пятнышко в ее ладонь. Кэт сжала кулак и рассмеялась:

— Что, теперь ты мой брат?

— Так, сестренка.

В этот момент из распахнутой двери банкетного зала вывалили люди, и все переменялось. Музыка стала еще более хриплой и неприятно громкой. «Всего несколько человек, а здесь уже тесно, — подумал Дрюпа, — чужой праздник. Свадьба». Среди вышедших была невеста — высокая девушка в фате и полупрозрачном платье, под которым белыми полосками проступали трусики и бюстгальтер.

— Свадьба.

Кэт развернулась.

— Точно, свадьба.

— Дурацкая свадьба, — сказал Пит, — дерьмо они слушают.

— Сам ты дурацкий, — беззлобно осадил его Кэт, — людям в кайф.

— Жених уже косой...

— Забавные. — Кэт улыбнулась. — Это, наверное, папа.

Изрядно нагруженный пожилой человек в костюме повалился на стул и, открыв рот, уставился на плюгавенький катер, с дымом и хрюканьем взбирающийся против течения.

— Тайфун, ха, — прочитал название Пит.

— Нуфиат, — перевернул Дрюпа, — так красивее.

Он вспомнил поэтические имена яхт, встреченных по пути вдоль берега: Лада, Ассоль, Аэлита, Снорк. Из зала выскочила и побежала вниз кукольная девочка лет десяти в розовом платье и с большим розовым бантом.

— Тошнит от них. Пойдем, — сказал Пит, — мы ведь собирались купаться?

Вскоре они уже шли мимо собак, лежащих вялыми меховыми ковриками возле проходной яхт-клуба, мимо пустых эллингов, шли по дороге, покрытой щебнем, но камни не были острыми — выпитое вино смягчало каждый шаг, шли, передавая очередную бутылку из рук в руки. Правда, пили в основном Пит и Дрюпа.

На берегу, на острие мыса, там, где река соединялась с морем, возле самой воды, обнаружилась маленькая полянка. Солнце было еще высоко, но уже на западе, над заливом, волны ослепительно сверкали, и несколько суденышек терялись на поверхности этого жидкого золота. Дрюпин взгляд проскользнул по реке и уперся в новостройки, белеющие на противоположном берегу. «Словно зубы, — подумал Дрюпа, — надкусили небо».

— Лахта, наверное, — уловив его мысли, предположил Петька.

— Вряд ли Лахта, — в слове «Лахта» Дрюпе показалось нечто особенное, легкое, морское — «Лахта-Яхта», — это какое-нибудь Долгое.

— Полотенце не взяли, — сказала Кэт.

— То-то, — нравоучительным тоном произнес Пит, — господа поэты.

— Ладно. — Кэт быстро скинула одежду и направилась к воде.

«Красиво, но банально», — Дрюпа на какое-то мгновение ощутил себя режиссером, и Кэт вдруг оказалась за гранью, недоступно далеко, в кадре какого-то чудесного объемного фильма.

— Теплая, — произнесла она не оборачиваясь, словно обращалась не к друзьям, а к большому солнечному диску, висящему над ней.

— Ну что, полезем. — Пока Дрюпа любовался видом, Пит успел раздеться и подойти к воде. — Теплая, сука. Как же! Ледяная.

— А ты кричи, — подсказал Дрюпа, — крик помогает при переходе в иную среду.

Когда же Дрюпа с громким «Йааа!» вбегал в воду, Кэт была уже далеко, только темное пятнышко головы среди сверкающих волн, а Пит по-прежнему стоял по колена в воде.

— Давай! — Дрюпа развернулся и приглашающе махнул рукой. — Она только кажется холодной.

— Я вхожу. — Пит улыбнулся. — Но медленно.

Выбравшись на берег, они долго сидели на облизанном волнами и солнцем бревне: кора давно сошла, древесина была белой и гладкой. Бутылка вина продолжала свой неспешный путь из рук в руки. Но теперь пропускал Дрюпа. В его желудке образовался некий обжигающий ком, который в такт с дыханием подкатывал к горлу.

— Чего-то мне не того, — Дрюпа встал и направился в камышовые заросли, — крокодил солнце проглотил.

Это и в самом деле была не тошнота, это было солнце, накопленное на террасе и теперь пылающее внутри. Дрюпа опустился на четвереньки, и земля поплыла перед глазами, а камыши вдруг стали огромными — бамбуковым лесом, непроходимой чащей, протянувшейся на многие километры вдоль побережья. «Надо блевануть», — приказал себе Дрюпа и представил, как огненные шары, вылетая из его рта, плывут в этих зарослях с шипением и треском, и белый дым струится вдоль стволов. «Американские вертолеты выжигают джунгли напалмом». Блевануть не получалось. Тошнота исчезла сама собой. По инерции — а вдруг опять, Дрюпа засунул два пальца в рот, и, выпучив глаза, зарычал. Эту процедуру он повторил несколько раз.

— Кто там блеет как козел? — донесся голос Пита.

— Не блеет, а блюет, — поправил Дрюпа.

Еще один раз безрезультатно рыкнув, он глубоко вдохнул. И вдруг полетел вниз сквозь сухой шелестящий дождь, навстречу желтому песчаному небу.

Поначалу он лежал, пребывая в состоянии, которое сам для себя определил как великое недеяние, Ву-Вэй, где он и мир были нераз-

личимы, он был всеми запахами, всеми звуками, он был небом и землей, движением и покоем. Но постепенно голоса друзей, словно нити, зацепили и понесли Дрюпу, вновь собирая, превращая в сплошное ухо, в камышового зверя, чья добыча — слова.

— Тогда старшие сестры меня обижали, — рассказывала Кэт, — или я сама обижалась.

Он чувствовал, улавливал малейшие оттенки интонации — Кэт говорила нечто сокровенное, очень важное для всех них. — И у меня было тайное место, — продолжила она, — куда я приходила. Это был маленький стульчик, почти игрушечный, он стоял в углу, ну, детский такой, с ручками и фанерной спинкой. И я приходила к нему, потому что там жил мой Бог.

— Бог?— переспросил Пит.

— Ну да, мой Бог. Я его не видела, но знала, что он там... Он слушал меня, и я это знала. Сестры смеялись надо мной — опять к своему богу пошла, но я то знала...

— И он помогал тебе?

— Наверное. Но ты знаешь, я очень странно молилась. Думала, ну где-то подсознательно об одном, а вслух, то есть, как бы вслух, про себя, просила совсем противоположное. — Кэт вздохнула. — Я говорила: вот я плохая, но пусть будет мне еще хуже, пусть они бьют меня сильнее, и так далее... И даже представляла это. А где-то в глубине хотела совсем другого, ведь я любила сестер. Причем как бы вот эти наговоры на себя должны были как бы отразиться и стать своей противоположностью.

«Для собак человеческая речь всего лишь татуировка воздуха», — Дрюпа вспомнил слова человека по прозвищу Передоз, эта фраза была вспышкой, одиноким цветком посреди дурацких телег, которые тот гнал, сидя рядом с Дрюпой на скамеечке возле Казани. И теперь, воображая себя человекособакой, большим камышовым псом, Андрей видел летящие по воздуху прозрачные слова Кэт и тяжелые, ленивые, стелющиеся по земле вопросы Пита.

«Он ведь не врубается», — с каким-то внутренним сожалением подумал Дрюпа.

— Андрей, — вдруг позвал Пит, — умер, что ли?

Дрюпа, раздвигая телом камыш, на четвереньках пополз к друзьям.

— И еще на этом острове водился дикий камышовый пес. — Он подобрался к Кэт и мокрой головой коснулся ее груди.

— Пес, почесать за ушком? — спросила она.

Дрюпа кивнул.

Пальцы Кэт были легкими и теплыми. Они невесомо скользили по коже, рассыпали мокрые сосульки Дрюпиных волос, которые становились продолжением лучей солнца, а оно недвижно висело над морем, ибо наступала вечность, и мир виделся потоком непрерывно и одновременно возникающих образов, немислимых пейзажей, где Кэт могла быть облаком, а Пит холмом, где навстречу Дрюпе по сверкающей поверхности воды шел, пританцовывая, невысокий человек в трепещущей на ветру одежде. И Дрюпа знал, что это — ангел, живший в доме Кэт, в углу, где маленький стул и ящик с игрушками.

зима, 1995

ИЗ ЦИКЛА «РИСУНКИ НА СТЕКЛЕ»

ПРО СВАЛКУ

Когда я был маленьким, после уроков в школе мы часто убегали играть на свалку, которая находилась в самом конце Васильевского острова, на берегу Финского залива. С высокого мусорного берега можно было увидеть в море Петровскую дамбу, а в ясную погоду даже Кронштадт: крыши домов и купол собора. Петровская дамба — ряд островков вдоль грузового фарватера, по которому корабли уходили из порта в залив, туда можно было приплыть на лодке и наблюдать почти настоящие приливы и отливы, когда проходит какой-нибудь большегрузный корабль.

Лодочная станция находилась в Ковше, древней гавани, построенной две с лишним сотни лет тому назад: на карте эта гавань напоминала ковшик, полный воды, где крутились лодки — словно мелко порезанный укроп в супе, — но некоторые норовили выбраться по водяной ручке — шкиперскому протоку, поползать по телу Маркизовой лужи, пройти мимо Невы на Канонерский остров, на Петровскую дамбу или забраться еще дальше — к Лисьему носу и фортам. Можно было совершать каботажные путешествия вдоль свалки, вдоль строящейся гостиницы Прибалтийской, вдоль Морской набережной — к островам.

Часто какая-нибудь лодка с влюбленной парой приставала к пустынному свалочному берегу, и мы становились свидетелями взрослых любовных игр. Рассказывали, что ребенок, зачатый на

свалке, обладал уравновешенным характером и способностью притягивать к себе богатство.

А в водах залива водилась и до сих пор водится, рыба колюшка, вся в радужных разводах, словно пятно бензина на воде, с колючками-плавниками. Она такая колючая, что даже бездомные коты ее не едят. Я думаю, что бездомный кот — это нонсенс. Кот — животное, предполагающее дом. Всегда есть какой-нибудь подвал, который так или иначе прилепляется к коту, или кот к подвалу. Иначе говоря, был бы кот, а дом найдется. Вот собаки — другое дело, понятие бездомная собака или бродячая собака — вполне оправдано. Потому-то они и собираются в стаи — бездомным так легче выжить.

Что же касается человеческого поведения, то есть люди-собаки и люди-кошки. Человек-кошка редко становится бомжом в полном смысле этого слова — он, даже потеряв прописку, всегда находит себе жилье, он старается держаться в стороне от человеческих стай и ни от кого не зависеть. А человек-собака либо начинает искать себе хозяина, либо искать себе подобных.

Но большинство людей — собаки, кошек немного.

Холодными ночами на свалке пахло костром. Не свалочным костром с его специфическими запахами горелой пластмассы, резины, с черным удушливым дымом и разноцветным пламенем, нет, совсем не таким, а костром, в котором горят нормальные деревянные дрова, у которого можно согреться, посидеть и приготовить еду. Эти костры жгли немногие ночующие на свалке бомжи.

А мы поджигали обрезки оргстекла и несли их в руках, они трещали и пламенные капли падали словно наши следы.

— Пред нами все цветет, за нами все горит... — пел Гоша высоким голосом песню Высоцкого, совсем непохоже, но по настоящему.

Существует поверье, что если такая капля упадет на руку, то на коже образуется долго не заживающая язва, а затем — круглый шрам, в его центре можно увидеть некий знак, иероглиф.

Если его точно воспроизвести на земле, очертить окружностью, встать в центр и закрыть глаза, можно услышать голос свалки, который расскажет тебе о сокровищах, скрытых под мусорными завалами, ведь ты и свалка теперь брат и сестра по огню. Только знание это недолговечно, и, открыв глаза, человек забывает все, о чем шептала ему свалка.

Нам эти обрезки были нужны как светильники для путешествий в подземном городе. Многие знают, что многочисленные каменные будочки с зарешеченными окошками, стоящие во дворах, — запасные выходы из бомбоубежищ, построенных в подвалах старых домов, а порой и отдельно, просто — под землей. Теперь часть из них занята клубами, например, модный клуб Грибоедов расположен в одном из таких бомбоубежищ. Но немногим известно, что город уже давно переварил некоторые из этих ходов, и теперь они соединились совершенно иным образом, образуя дороги в совершенно иные места.

Часть ходов приводит к вентиляционным шахтам метрополитена, по которым можно спуститься еще глубже, в сумрачный нетилопортем, была бы веревка и нужное количество светильников, часть — к подземному аэродрому, где в покрытых пылью брезентовых чехлах стоят древние самолеты, их баки заправлены, а в кабинах спят летчики Второй Мировой. Однажды, по одной им известной команде, земля над самолетами раздвинется, и они взлетят в небо, но все-таки основная часть всех этих тайных путей ведет в обычное никуда.

На свалке всегда было больше чаек, чем ворон. Вороны любят заросшее деревьями Смоленское кладбище — там в кронах, словно гигантские плоды, темнеют их гнезда. А чайки — птицы свалки. Где их гнезда — никому не ведомо, порой кажется, что они произрастают из свалочного мусора (была ведь в антично-

сти подобная теория происхождения мух), из побелевшего от времени алюминия (попробуй теперь найди его), бетонных плит, старых ящичков и пластмассы. Чайки издали похожи на комки бумаги, черновики безумного писателя, разбросанные по миру. Низко летящая над заливом чайка стряхивает слова в воду, и рыба колюшка питается ими, не понимая смысла...

Однажды ранним весенним утром, проезжая через Елагин остров, я увидел охотника на ворон с духовым ружьем. Он был одет в зеленую униформу, широкополую шляпу, рядом с ним прислоненный к дереву стоял велосипед. Охотник, скорее всего, был нанят администрацией парка и получал за свою работу деньги, но и, как мне показалось, получал также немалое удовольствие от этой своей работы. В отличие от истребителей бездомных собак и кошек, облик которых вполне соответствует их деятельности, этот был крайне опрятен: аккуратно выбритое лицо, очки в позолоченной оправе, тонкие перчатки. Но вызывал такое же отвращение.

Я слышал, что в свое время по свалке вдоль берега ходили специальные цапли, вместо крыльев у них были милицейские погоны, а на голове фуражка с красным околышком. Кто такую цаплю встречал, начинал икать так безудержно, что спасти его мог только Черный Мусорщик.

Согласно преданию, Черный Мусорщик появляется лишь ночью, а утром, когда землечерпалка выгребает из залива утонувшее солнце, он уходит, становясь своим сном. Его сон — это разный хлам, на котором сидят то вороны, то чайки. Точнее, либо вороны, либо чайки — они не смешиваются, как два — цвета черное и белое, как два полюса, между которыми — весь мир. Так вот, если на куче этого хлама сидят чайки — значит, Черный Мусорщик ночью снимет твою непрекратимую икоту, и от этого, может быть, вся твоя последующая жизнь пойдет по иному пути, а если вороны, то берегись — он приведет тебя к горе коробок из-под марокканских апельсинов и заставит строить корабль собственной икоте, ведь каждый ик —

это спрессованные слова, в каждом ике скрыты сотни гениальных стихотворений и романов, не написанных тобой.

Черный Мусорщик не даст тебе успокоиться и будет продолжаться ночь, пока ты не построишь такой большой корабль, чтобы в нем уместились все твои ики, пока этот корабль не будет спущен на воду и не отправится через залив, за которым Африка, со всеми ее женскими прелестями, она лежит, вздыхая по Черному Мусорщику, его единственная возлюбленная, и ждет его писем, и только ящики из-под марокканских апельсинов знают к ней дорогу, поэтому кораблю не нужен ни штурман, ни капитан, и когда он приходит к Африке, твои ики раскрываются в южном африканском солнце, словно бутоны цветов, в которых можно прочесть слова любви.

Так Черный Мусорщик тобой рассказывает Африке о своей любви, и когда настает утро, ты возвращаешься домой опустошенный, выеденный дотла настолько, что все, на что падает твой взгляд, втягивается им в тебя, словно в пылесос.

И если ты видишь нечто прекрасное, то тебе повезло, но, к сожалению, на свалке слишком много отходов, и мало у кого взгляд падает на бескрайние воды залива, за которым лежит Африка, возлюбленная Черного Мусорщика, и ждет от него писем.

А еще на эту свалку когда-то свозили старые телевизоры: их везли со всего города, чтобы бросить под гусеницы бульдозера и затем сгрести останки в большие кучи. Вы спросите, зачем? Очень просто: старые телевизоры принимали у людей в обмен на специальные талоны. Владелец такого талона мог купить в магазине новый телевизор с определенной скидкой. А старые безжалостно уничтожали. Были телевизоры, которым везло — например, наш, дачный был нелегально куплен у приемщика, избежал насильственной смерти и безупречно служил нашей семье еще несколько лет.

И как человек перед смертью вспоминает всю свою жизнь, так и телевизор в короткий миг своей смерти показывал все программы, что когда-либо смотрели люди, сидя возле этого город-

ского очага, источника тепла и спокойствия: под его бормотание пьяный муж переставал бузить и засыпал, жена укладывала детей и принималась за шитье-глаженье, а дети, теперь уже ставшие мужьями и женами, дедушками и бабушками, тайно подглядывали из детских кроваток в мерцающий синим экран.

Под железными гусеницами телевизоры взрывались, разбирающая прошлое осколками серого стекла, оно накапливалось под горой из мертвых телевизоров, а гора росла, поднимаясь все выше. Ее было видно издали — даже птицы не садились на ее вершину, только маленький одинокий бульдозер, кажущийся муравьем на муравейнике, с кряхтением заталкивал очередную порцию мертвецов наверх.

Так поднималась к небу вся человеческая история, сгоревшая, раздавленная, раздробленная на мелкие осколки. Плотность исторических событий, умятых бульдозером, была такова, что иногда они воплощались в мерцающий синим дымок, который прорывался из недр этой горы, этот дымок нес в себе знание всего — вдохнувший его становился неуязвимым (предупрежден, значит, вооружен — так говорят в народе) и многие хотели пройти к горе и сделать хотя бы маленький глоточек этого дыма.

Но это не удавалось никому — телевизионную свалку бдительно охраняли три брата, они были похожи друг на друга, как близнецы, хотя и родились в разное время. Братья работали по очереди, сутки через двое и никогда не могли оказаться дома втроем, поэтому их отец считал, что у него всего лишь два сына — только мать знала, что их трое. Братьев звали Иванами. У них была собака по кличке Транзистор и ружье с двумя патронами: один, чтобы убить злоумышленника, который придет дышать этим дымом, а другой для себя, если соблазн вдохнуть пересилит все остальные соблазны.

Рассказывали про то, что два брата, старший и средний, были вполне нормальными, а младший — не от мира сего. Поэтому старшие ходили на водочный родник, забавлялись в сторожке

с сахарными бабами, чьи поцелуи надолго оставляли сладкий вкус во рту и ощущение песка на губах — это были естественные, дозволенные соблазны, а младший ночи напролет смотрел на этот дым, голубую ленту, разматывающуюся в небеса, и о чем он думал, да и думал ли он вообще, никто не знает.

Говорят, однажды средний брат пришел на работу и увидел, что Транзистор сидит в сторожке под лавкой и жалобно покусывает, а в ружье остался лишь один патрон. Средний брат облазил всю свалку, но ни гильзы, ни тела младшего брата найти не смог. А на следующий день телевизоры привозить перестали, и надобность в охране отпала сама собой. Но еще долго, зимой и летом, работал бульдозер, сталкивая в море и разравнивая телевизионную гору.

Так умерла часть свалки. Гибель любой свалки начинается с ее голода. Смерть приходит, точнее, не приходят грузовики, исчезает запах дыма и гнили, зато на ее холмистой поверхности появляется трава, желтые цветы мать-и-мачехи, ольха, ива. И здесь отчетливей всего ощущаешь затертую истину, что настоящей смерти нет, есть лишь бесконечное изменение — ладонь свалки, открытая небу, исчезая, просит лишь дождя, потому что она становится полем, лесом, берегом, а затем, через сотни лет, какие-нибудь археологи будут искать среди корней травы и деревьев бесценные свидетельства прошлого.

ЧЕРНО-БЫЛЬ

(фамилии и имена действующих лиц изменены)

— У меня должен быть плохой анализ крови. — Я многозначительно посмотрел на медсестру. — Мне бы очень хотелось... этого.

— Да, да, понимаю, — ответила девушка, размазывая выдавленную из меня каплю крови между двумя стеклянными пластинка-

ми, — я понимаю... Вот до вас мужчина сдавал, его тоже в Чернобыль забирают, так такая плохая кровь... — Она невесело улыбнулась.

На следующее утро я получил в регистратуре результаты, которые могли бы повергнуть в ужас человека, озабоченного своим здоровьем, но меня лишь обрадовали, и отправился я в военкомат на дальнейшее обследование.

Миновав конвейер, где мое тело быстро ощупали руки хирурга, обстучал молоточек невропатолога, залез в нос и тут же вынырнул клювик странных щипцов лора, пробежала по груди холодная лягушка стетоскопа терапевта, я оказался перед дверьми главврача, начальника комиссии. В ожидании вызова я принялся читать собственную медкарту, однако разговор, происходящий за дверью, отвлек меня от созерцания врачебных каракулей.

— А я говорю вам, годен! — неожиданно громко донеслось оттуда.

— Поймите же, я сам врач, с таким анализом крови постельный режим требуется...

— Вы его получите, — перебил его первый голос, судя по всему принадлежавший начальнику комиссии, — в поезде.

— Но поймите...

— У вас нормальная кровь. По дороге поправитесь. Зовите следующего.

Моя кровь, в анализе которой наблюдалось явное нарушение лейкоцитарного состава, тоже вполне устроила главного. А моим братом по «плохой» крови оказался лейтенант Булатов, будущий доктор нашей роты.

После долгих перемещений по окрестностям Киева нас (мы — это десяток питерских офицеров запаса, призванных, как указывалось в повестке, на полугодовые учебные военные сборы в Чернобыль) наконец повезли в расположение Ленинградского полка.

Впервые мы почувствовали дыхание происшедшей около года назад катастрофы, подъезжая к базе: обочины дорог пестрели знаками «радиоактивно» и «остановка запрещена».

Возле последнего поворота я увидел большой белый указатель в сторону рожицы, за которой виднелись какие-то постройки. На нем крупными черными буквами было написано: «ХОЗЯЙСТВО ПЕТРОВА». Впоследствии выяснилось, что Петров — командир нашего полка, а постройки — клуб и офицерское общежитие.

Наша часть находилась близ деревни Домановка, недалеко от границы зоны, но уже за ее пределами, в окружении полей и березово-сосновых лесов. В конце лета в лесах появилось несметное количество грибов. Я их собирал ради удовольствия и никогда не ел — боялся радиации: зона находилась в нескольких километрах. Грибы можно было проверить прибором на бета-радиоактивность, именно — бета, в отношении альфа и гамма лес был чист. Бета-радиометр имелся один на весь полк, и я не слишком доверял его показаниям. Говорят, что некоторые офицеры все же ели эти грибы — я лично не видел.

А вот яблоки были не заражены и вполне съедобны. Радиоактивные облака миновали огромный яблоневый сад, находящийся в нескольких километрах от Домановки. Раз в неделю я посещал этот сад вместе с библиотекарем, на гражданке работавшим водителем автобуса. Он, как и многие из нас, был наголо выбрит. Чем-то он походил на Хлебникова.

Я не застал то легендарное время, когда каждому ликвидатору перед поездкой в зону для предохранения от радиации выдавали по стопке водки. В мою бытность, наоборот, начальство всеми силами боролось с пьянством: однажды полковники, переодевшись солдатами, отправились в Домановку и устроили в домах старушек, продававших солдатам самогон, настоящие погромы, перебив все бутылки с товаром.

Я записал частушку (всего в моей коллекции «частушек Ленинградского полка» около двадцати с лишним штук) следующего содержания:

Я в Чернобыле служил,
На реактор хуй ложил,
Я в Домановку ходил,
Самогон и водку пил.

Доктор Булатов умудрился выбить командировку за лекарствами в городок, где твердая трезвая рука полковников была бессильна: в городке имелся магазин, продающий горілчані вироби. (Впервые я приезжал, а точнее, меня привозили в Киев бабушка и дедушка, когда мне было около двенадцати лет. Прочитав на одном из домов вывеску «ГОРІЛЧАНІ ВИРОБИ», я подумал о горячих пирожках, любимых мною и по сию пору. Какое же разочарование я испытал, оказавшись внутри! Но когда мы с друзьями посетили Киев второй раз, горілчані вироби стали местом вожделенным и сладостным.)

Доктор закупил этих крепких «виробів» на все имеющиеся у него, то есть выданные ему нами деньги. Получилось два плотных и весьма тяжелых приятно булькающих вещмешка. Однако пробовать напиток он начал еще в городке, поэтому опоздал к машине и в полк был вынужден добираться на перекладных. По мере приближения к базе, он продолжал пропитываться (а точнее, напиваться) водкой: дорога была радиоактивной, приходилось много стоять на обочинах и не нашлось иного способа защитить себя от вездесущего излучения — так он объяснял начальству, подобравшему его тепленькое тело на одной из этих обочин. А оставшаяся водка, естественно, была конфискована и уничтожена полковниками.

Кого только не было в полку: доктор Булатов — на гражданке — врач-гинеколог, его санитар — Веня Чинарев — художник, студент Мухинского училища, я, например, — кочегар-писатель, а Виктор, здешний библиотекарь — шофер автобуса.

В нашей комнате обитало семь человек — офицеры роты разведки. Офицеры роты разведки! Это лишь звучало красиво — на самом деле мы выполняли ту же работу, что и офицеры других

рот: были кем-то вроде бригадиров или прорабов на капремонте. Каждый из нас командовал взводом человек около двадцати.

Мой сосед Коля, иначе — лейтенант Никонов, начал ностальгировать по женщинам с первого же дня после приезда. Его рассказы в основном доставляли наслаждение лишь ему самому. Мало того, с точностью до слова и завидным постоянством, они повторялись каждый вечер. Все уже знали наизусть, какие трусы у его жены, и как он трахался с любовницей в тамбуре пустого поезда, и как он очень хотел и ебал женщину, не снимая с нее трусы, а лишь сдвинув перемычку, и как он повторит этот подвиг, когда вернется, а повторить он сможет, ибо у него по утрам стоит, и с каждым днем хочется все сильнее...

На этом обычно его перебивали: «Может, хватит о бабах..», но через какое-то время разговор снова перетекал на них, начиналось обсуждение достоинств какой-нибудь женщины, встреченной в зоне, Коля незамедлительно высказывал предположения, кому и как она давала. Жен полковников и приезжающих иногда в гости собственных жен не обсуждали.

Большинство солдат прибыло из деревень Ленинградской, Вологодской и Новгородской областей. Все солдаты моего взвода были старше меня, почти каждый — обременен крестьянским хозяйством и многочисленной семьей. В очереди к телефону их сокровенные мечты становились общим достоянием: приходилось кричать, чтобы хоть что-то долетело до той стороны.

«Денег пришли» — непрерывно, словно выкрикивая некий лозунг, повторял один. Такое требование легко объяснялось — самогон стоил дорого. Кроме того, у прапорщиков можно было купить новенькую афганку (в смысле — военную десантную форму нового образца), или удостоверение, или... У прапорщиков можно было купить все, что захочешь — имелись бы деньги.

Другой, более обстоятельный, расспрашивал жену о крыше, которую обещал поставить совхоз, и о телке, третьего интересовала судьба дочки, уехавшей в город. Что они могли уловить среди шума, гудков и бульканья — я не знаю. Может, помехи сами складывались в человеческую речь, выдавая желанный ответ, но

очередь к телефону не пропадала. Из десяти раз я лишь дважды дозвонился домой.

Денег почти всегда не хватало. Может, поэтому во всем полку царил натуральный обмен. Продукты питания типа сгущенки-тушенки спросом не пользовались — кормили нас вдоволь. Ходила типичная для Руси валюта — спирт или самогон. Но существовали и другие системы обмена: например, тельник менялся на два старых значка (речь идет о нагрудных знаках «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», которые сначала выпускались одного образца, затем другого. Новые значки ценились меньше), афганка, кажется, стоила тельник плюс удостоверение и так далее... На разнице в соотношениях меновых цен можно было играть, однако большинство из этих операций сводилось к простейшей формуле: шило на мыло.

Знание кочегарского дела весьма мне пригодилось — после отлучения от облучения, то есть отлучения от работ на станции, которое тихой сапой произвел то ли местный капитан госбезопасности, то ли майор-диспетчер на самой станции, с которым я (а правильнее, он со мной) разругался во второй или третий день ударного труда, мне поручили налаживать местные котельные. Это было что-то вроде маленькой ступени к дембелю. Манометры, термометры, задвижки, котлы — я подготавливал уютные и удивительно безопасные копии станций к зиме.

Все командиры ходили пешком, а зам-по-тылу, в подчинение которому я попал, разъезжал на велосипеде. Велосипед был голубой и иррадно помятый, чего нельзя было сказать о зам-по-тылу.

Капитан госбезопасности тоже отличался от остальных офицеров — под гимнастеркой, ворот которой был всегда расстегнут, он носил тельняшку. Как митек.

И у меня был «знак отличия», даже два. Первый — довольно большая щетина на щеках и подбородке: почувствовав, что бли-

зится срок возвращения, я снова принялся отращивать бороду, а второй — маленький нательный крестик, который постоянно стремился выскочить наружу. Я не снимал его даже в душе, куда мы ходили после возвращения со станции. Этот крестик заставил замполита страдать над неразрешимым в то время вопросом: может ли верующий офицер командовать? Через год такой вопрос уже бы не возник, но тогда... В общем, замполит запретил мне заниматься религиозной пропагандой. Однако командир полка не раз пытался беседовать со мной на библейские темы.

Док, служивший намного дольше меня, рассказывал, что наши прогулки-беседы с Петровым, перемоловшись в устах десятка другого солдат, через два месяца превратились в следующую байку: «Был в нашем полку старлей — поп-расстрига. Крест серебряный на груди поверх формы носил — килограмма два. И сам полковник ничего запретить ему не мог, а завидев крест, кланялся и крестился».

Капитан госбезопасности, сейчас я даже не могу вспомнить его имени, иногда выпивал с доктором Булатовым. Напившись, он говорил обо мне доктору:

— Но почему у него крысы из города бегут.. Все было, мародерство было, лес хорошо описан, но почему крысы из города бегут! Такого не было... (Мои полуфантастические, с частыми отсылками к средневековым чумным временам, творения он воспринимал как реальные отчеты.)

— Это же художественная фантазия, вымысел, — отвечал Булатов.

— Фантазия — фантазией, но крысы!

На самом деле капитан госбезопасности не был лишен фантазии. Одно то, как он добыл мои тексты, достойное подтверждение сему. Просто попросить почитать — это было бы прозаично и банально. Он предпочел наиболее трудный путь — похищение. И вот здесь в полной мере проявилось его изощренное воображение.

Однажды весь полк, включая офицеров, выстроили на плацу: проверяли чистоту ногтей. И эта грандиозная и абсурдная

по своей бессмысленности процедура была задумана лишь для того, чтобы очистить нашу многонаселенную комнату от людей и изъять из тумбочки все мои бумаги.

Однако сие действие ничуть мне не повредило: он взял лишь первый экземпляр, а все рукописи я печатал в двух экземплярах на телетайпной ленте (двух бумажных лентах, проложенных лентой копирки и свернутых в рулон). В сечении она напоминала мне рулет, в котором вместо бисквита — бумага, а вместо крема — копирка. Заправив рулон в машинку, можно было печатать, не думая ни о листах бумаги, ни о замене копирки: рукопись получалась сразу в двух экземплярах. Машинка находилась в штабе роты, куда я мог входить в любое время: по части машинописных работ мне не было равных во всем полку, и если требовалось срочно подготовить какой-либо документ, что случалось крайне редко, прибегали к моей помощи. Первый экземпляр я хранил в тумбочке, а второй — в машине со странным именем ПХЛ.

Эта машина — фургон ГАЗ-66, Передвижная Химическая Лаборатория (отсюда и имя — ПХЛ), никогда не ходила в зону, а со времени прибытия в полк стояла в автопарке на колодках. Я был единственным владельцем ключа от фургона, вскоре переоборудованного под вполне сносный писательский кабинет. Туда я также перетащил подушку и одеяло, которые прятал в одном из ящиков: его содержимое было разворовано задолго до моего появления.

Помимо этой, у меня была еще одна ПХЛ, также не ходившая на станцию, имелось и несколько БРДМ — этаких бронированных со всех сторон от радиации и вредных веществ, черепах: они могли ползать в ядерном пекле достаточно долго. Брдмки в первые месяцы после аварии были незаменимы, а в мою бытность отдыхали в парке: на станцию мы ездили в обычных, крытых брезентом грузовиках.

Парковые дни — это дни, когда мы чистили технику, контролируя приборами ее зараженность. Правда, некоторые приборы показывали свою собственную зараженность.

Когда проверяли моторы, парк оживал: машины напоминали гигантских зеленых насекомых. Отгороженная земля была гнездом, из которого каждое утро выползала вереница грузовиков.

Путь до объекта (а объектом являлась либо станция, либо какое-нибудь сооружение в городе Припять) был достаточно долгим. Но обратная дорога занимала еще больше времени: для того чтобы миновать радиометрические кордоны, требовалось настоящее искусство. Машины со станции шли грязные и «светились» больше нормы, мытье же занимало два-три часа, вдобавок некоторые кордоны были оснащены импортными, очень точными и чувствительными, радиометрами, прозванными в народе японцами, и, чтобы вернуться в полк к ужину, приходилось прибегать ко всевозможным ухищрениям.

Например, мой водитель любил пристраиваться вплотную в хвост к уже проверенной машине и прорываться следом за ней под стремительно закрывающимся шлагбаумом. Другие предпочитали выбираться из зоны окольными путями, через кордоны, на которых работают «свои». А машины все равно приходилось мыть... Но уже в полку.

Место, куда попадает зараженная, отработавшая свое техника, которую уже не отмыть от радиоактивной «грязи», называется могильник. Я на таком могильнике умудрился захоронить все украденное кем-то из моих предшественников оборудование... Однако, как выяснилось, сначала его следовало списать. Списали мы его довольно быстро, с помощью прозрачных и весьма крепких чернил.

Каюсь, я и сам не прочь был поживиться танкистским шлемом: в нем весьма удобно было бы ездить на велосипеде, но не рискнул. Не из этических соображений, а из медицинских: подумал — вдруг он светит. Будь я уверен в его чистоте, наверняка бы спер.

Одним из наших объектов был завод Юпитер. Тот самый, что производил магнитофоны... В первый же перерыв солдаты разбрелись по заводу. Видимо, с целью предупреждения мародер-

ства, все оборудование сразу после аварии было приведено в негодность: станки валялись на полу, в лужах масла, как мертвые воины на поле битвы. Солдатов я нашел на складе: они распахивали по карманам штекеры, фотодиоды и прочие новенькие, упакованные в полиэтилен детали. Один боязливо посмотрел на меня, однако, признав своего, неспешно продолжил потрошение ящиков. Я присоединился к ним из чистого любопытства — радиодетали меня не интересовали. Я почти уверен, что полиэтиленовая обертка предоохранила детали от заражения. Людей подобным образом не запакуешь.

На этом заводе было множество всяких забавных штуковин. Как-то, гуляя по объекту, я зашел в лабораторию, где было полно бутылей серной кислоты. К счастью, их оставили нетронутыми на стеллажах, лишь одна была опрокинута внутри вытяжного шкафа, и след ожога широкой полосой тянулся по деревянной дверце, темнел на полу.

Завод постепенно превращали в станцию дезактивации. Мы отмывали от грязи бывшую столовую и преимущественно имели дело с бета-заражением. После нескольких литров мыльной воды плитки пола становились чистыми, однако щели между ними продолжали светить. Дозиметрист ходил с радиометром и обводил цветными мелками еще недостаточно отмытые места, указывая внутри цифру — уровень зараженности. В итоге весь пол был разрисован причудливыми разноцветными фигурами.

На работу нам привозили газировку, целые ящики с бутылками газированной воды. Пей сколько хочешь. Это было необыкновенно приятно, сняв намордник с ласковым названием лепесток, глотнуть прохладной, пощипывающей горло минералки.

Примитивные респираторы, получаемые нами в неограниченном количестве, действительно напоминали лепестки больших белых цветков. Правда, на момент выдачи они представляли собой абсолютно плоские ровные матерчатые круги, натянутые на проволочно-пластмассовые рамки, но с помощью нехитрых манипуляций превращались в лепестки, закрывающие

нос и рот, облепляющие лица так, что трудно было узнать того, кто работал рядом. Лишь по глазам, по одежде, да по погонам.

Одежда для поездок в зону, была, что называется, бэу самых разных покроев и оттенков. Покопавшись на складе, можно было найти галифе чуть ли не начала века, имелась форма и темно-зеленая, нелиняющая, имелась и абсолютно выцветшая, соломенная. Я предпочитал последнюю...

После того как до местного начальства дошло, что отмыть бывшую столовую Юпитера лучше, чем сделали это мы, невозможно, нас перевели на станцию, в третий блок, соседний с взорвавшимся. Бардак здесь был меньше — сказывалась близость реальной опасности.

Здесь я убедился в правильности поговорки: «Петух не клюнет, мужик не перекрестится». Солдаты, с которыми я чуть ли не всю дорогу вел разъяснительные беседы о том, чем опасна радиация, проработав полчаса, напрочь забывали о радиоактивной пыли, летающей в воздухе, и о категорическом запрете посещать соседние непроверенные помещения. Стоило мне отойти на секунду, как лепестки сменялись сигаретами, и кто-нибудь уже «орудовал» за запретной дверью. «Ну чего ты, лейтенант, я уже месяц работаю и не жалуясь» — типичный ответ на мои пинки и увещевания.

Работа, которую нам поручали, не отличалась особым разнообразием: чистить, скоблить, мыть. Один раз мы зачем-то сбивали отбойными молотками цементную корку, покрывающую пол. Зачем? Никто мне объяснить не смог. Приказы не обсуждаются.

Соседний взвод, например, мыл трубы. Долго и упорно. Однако, даже после того, как железными скребками содрали краску, уровень зараженности труб не уменьшился.

Загадку разрешил один из проходивших мимо физиков, мозги которого не успели свернуться под форменной фуражкой — в трубах находилась радиоактивная вода! И все же я почти уверен, что после наших трудов на станции стало немного «чище».

За несколько дней я ознакомился со всеми местными достопримечательностями: стеной, за которой замурован погибший

от переоблучения оператор, мертвым лесом, знаменитым «золотым коридором».

Коридор казался мне больше серебряным, чем золотым — пасмурные дни лили в его многочисленные окна бледно-голубой свет. Я не раз проходил по нему: майор-диспетчер разбросал моих солдат по трем различным комнатам с невыслымыми номерами и, хотя в каждой группе был старший, раз в час приходилось бегать по всему блоку: ведь за выполнение работ отвечал лично я. Впрочем, подобных мне ходяков было много, и заберись я, скажем, на крышу, никто бы и не заметил.

«Крыша» была не простой крышей, под этим словом подразумевалась крыша третьего, соседнего с взорвавшимся, энергоблока. Именно на нее попали куски радиоактивного графита из реактора. Сначала их собирали роботы, но у роботов от переоблучения часто «ехала крыша», и сумасшедшие неуправляемые машины падали вниз и разбивались. Тогда роботов заменили «зелеными биороботами» — так себя называли некоторые солдаты, работавшие там. К моменту нашего появления на станции крыша была в основном очищена, а по поводу работы на ней ходила частушка:

Если хочешь ты домой —
Полезай на крышу,
А потом ебать жену
Будет дядя Миша!

Когда мне запретили поездки на станцию, я особенно не переживал, хотя... Отстранение от работ влекло за собой два последствия: первое — не схватишь предельную дозу, и второе, истекающее из этого — будешь сидеть в полку весь отведенный тебе срок, то есть — полгода. Поэтому все стремились в зону. Чтобы как можно быстрее получить нужную дозу и отправиться домой. Каждому воину перед работой выдавали волшебную палочку — дозиметр. Вечером один из офицеров проверял их. Надо сказать, такой метод определения дозы имел серьезные недостатки. Скажем, если дозиметр находился в нагрудном кармане, он мерил лишь ту дозу, которую получал нагрудный кар-

ман: гамма-лучи могли серьезно повредить все, что находится ниже или выше груди, а прибор показал бы нулевую или очень маленькую дозу. Кроме того, дозиметр воспринимал лишь гамма-излучение, а бета, которого было предостаточно, и которое, на мой взгляд, не менее опасно, не учитывалось.

За перебор дневной нормы карали отлучением от станции. Впрочем, при мне норму никто и не перебирал, работали в достаточно «малосветящих» местах строго определенное, рассчитанное командирами, то есть нами, время — у каждого из офицеров имелся прибор ДП-5 или ДП-3, и, прежде чем начинать работу, мы хотя бы приблизительно измеряли уровень радиоактивности.

Были хитрецы, специально облучавшие свой дозиметр, но такие действия быстро раскрывались — в одиночку никто не работал.

Предельная суммарная доза, после набора которой солдата отпускали домой, сначала, сразу после аварии, составляла 25 рн, затем постепенно уменьшалась: 18, 12, 10 рентген, а если по-научному, бэров (биологических эквивалентов рентгена). В полку ходила частушка на эту тему:

Наберешь ты восемнадцать
И поедешь ты домой
Узнавать, как мирный атом
Действует на орган твой.

В устах солдат малопонятное слово рентген быстро превратилось в «рейган». Что сказал бы тогдашний американский президент, если бы ему довелось подслушать следующий, довольно типичный для зоны разговор:

— У тебя сколько рейганов?

— Уже восемь с половиной...

— Ну, так скоро домой... А меня, вот, на трех приостановили, вторую неделю держат...

Имеет ли радиация запах? Спроси меня об этом до поездки, я твердо бы ответил — нет. Однако некий запах не покидал меня

все два месяца, что я провел близ зоны. Его невозможно описать, невозможно сравнить с чем-либо. Сырая марля плюс плохой, очень плохой табак, плюс прелые листья, плюс... И все это на грани чувствования...

У всех вновь прибывших в Чернобыль першило в горле. Это ощущение, как считает Булатов, — тоже действие радиации.

Возможно радиация не пахнет. (Хотя при сильном гамма-излучении должен появляться запах озона, продукта воздействия частиц на кислород воздуха.) То, что я называю запахом, лежит глубже. Человеческий организм чувствует радиацию, но не может адекватно передать это и создает ощущение запаха. Возможно, подобным образом мы способны «видеть» ауру.

Старое железо не пахнет, но я знаю запах старого железа.

КОШКИ

Каждый раз, возвращаясь в общежитие, я видел спящую на крыльце кошку. Ее белая, в черных пятнах шерсть — пишу: белая, в черных пятнах, хотя истинные цвета — золотой, светло-желтый и голубой; золотой там, где на черном играет солнце — если медленно приближаться, золотая полоска передвигается вдоль ее тела и теряется в ослепительном — солнце еще высоко, отраженный от белого свет больно бьет по глазам, и только в теневых местах ослепительное сияние сменяется тихим голубым, а ниже, где тень растянувшейся вдоль досок крыльца кошки падает на пол, голубой, смешиваясь с коричнево-серым, становится совершенно темным, похожим на смолу, которая растеклась тонким слоем и намертво приклеила кошку, сделав ее ковриком для вытирания взгляда. Я поднимался на крыльцо, с трудом раздвигая горячий воздух: моя тень накрывала кошку, соединялась с ее тенью, и сказочные краски распались, я видел обыкновенную, белую в черных пятнах кошку.

Жаркие солнечные дни общежитие встречало монотонным жужжанием — вокруг крыльца летало множество мух, но ни одна не садилась на белый сахар, на черный бархат ее шерсти; теперь я думаю: будь действительно — черный бархат, так не было бы золотой солнечной полоски (здесь очень важен угол падения солнечных лучей на шерсть), а белый сахар — вполне правдоподобно, кошки чистоплотны, да и в общежитии... Нельзя сказать: «В общежитии было чисто». Но неверно и обратное, ибо здесь слово «чистота» имеет немного иной смысл. Хотя дневальный моет полы несколько раз в день, и перед крыльцом стоит плоская неглубокая ванночка, на дно которой положена сетка, и несколько влажных тряпок брошено в коридоре, песок и пыль, привозимые из зоны (в основном — на сапогах) попадают в помещение, и оно немного «фонит».

Это «немного фонит» счастливо миновало кошку и трех ее котят, очень похожих на мать. Правда, черные пятна у каждого легли по своему: словно в момент рождения котят были совершенно белыми, а потом какой-то шутник выплеснул тушь: «На кого Бог пошлет!» И одному досталось больше всех: крупные капли упали на голову и на туловище, белое сохранилось лишь на лапках да на грудке (мы говорим котенок, не задумываясь над тем, кот это или кошка). «При более детальном рассмотрении выяснилось, что самая темная особь, — сказал бы... (я знал несколько человек, говоривших именно так), — самая темная особь — женского пола».

Если за ней внимательно наблюдать, можно заметить, что она не только окраской, но и поведением сильно отличается от своих братьев: часто я ее видел одиноко сидящей на бетонном поребрике, издали она напоминала статуэтку небольшого фарфорового котенка, одну из любимых игрушек моего детства: она стояла на верхней полке книжного шкафа, и, чтобы ее снять, мне приходилось забираться на стул. Помню, я до слез расстраивался из-за того, что у всех «настоящих» кошек — четыре лапы, а у фарфорового — только две передние: остальные, сливаясь с хвостом, образовывали устойчивую подставку. Фигурка была полая, в центре подставки зияло круглое отверстие, и когда я

в него дул, возникало заунывное «у-у-у-у». Здесь так же гудит воздух, проходящий сквозь очистные фильтры. Я решил исправить «ошибку» художника — вырезать кошке задние ноги — сначала попытался процарапать фарфор ножом, однако он не поддавался, тогда я взял напильник и... первым же неосторожным движением (я боялся прихода отца, ведь напильник был взят без разрешения из ящика с инструментами) расколол фигурку.

Котят звали Альфа, Бета и Гамма — по названию частиц. Здесь чаще всего мы сталкиваемся с бета-частицами. Их излучение способно пробить даже человеческую кожу, однако, попадая на слизистую оболочку, проникая внутрь организма, оно вызывает тяжелые заболевания. Альфа — еще более опасные, но и более неуклюжие частицы — здесь почти не встречаются. И наконец, гамма, способные проникать повсюду. Один раз я обнаружил гамма-котенка на своей подушке и до сих пор не могу себе объяснить, как он попал из коридора в закрытую на ключ комнату.

Иногда, чаще всего по вечерам, я видел котят и кошку в березовой роще, которая начинается сразу за общежитиями, и слышал тихий шорох на улице под моим окном — то ли шум падающей мочи («Туалеты находятся далеко от жилой зоны, и все офицеры отправляют естественную надобность, — сказал бы... я знал несколько человек, говоривших именно так, — прямо в роще»), то ли шуршание котенка в сухих листьях. Издали котятя походили на низенькие березовые пеньки, в этой роще особенно заметные, ведь спиленных деревьев практически не было, как не было и уродливых, кривых деревьев — стройные высокие стволы прямыми линиями поднимались вверх.

Невысокие, черно-белые пеньки — лицо другого, мертвого леса, там они давали пятьсот-семьсот, и работать приходилось недолго, а однажды в вечернюю смену кто-то перепутал указатель, мы заблудились, вышли ко рву, техника же была с другой стороны, угрожающе шелестел лес, и фосфоресцирующая зеленым шкала прибора становилась все ярче, ибо опускалась темнота, и, чтобы перейти через ров, мы направляли приборы шкалой вниз, таким образом освещая дорогу. Ночь была жаркой: за шиворот сыпались сухие иголки сосен, иногда со случайными

насекомыми — деревянный дождь, без слякоти, налипающий на кожу грязным ядовитым слоем... И я мечтал об обычном чистом дожде, приходящем вместе с северным или восточным ветром (южный и западный — со стороны зоны, часто были радиоактивны). Такой дождь промывал воздух, оставляя после себя белесые потеки на окнах, похожие на стволы берез в роще, где стоящий лицом к дереву человек и маленькое размытое белое пятно внизу, и метром выше — зеленый плотный квадрат оставленной сушиться рубашки кажутся нарисованными на стекле.

Тихими теплыми вечерами я гулял в этой роще и однажды увидел среди берез четырех неподвижных, словно застывших в прыжке кошек... «Наших кошек», — сказал бы... (я знал многих людей, говоривших именно так)... одну взрослую и трех котят — от шеи каждой параллельно стволам тянулась белесая паутинка — тонкий капроновый шнурок. Когда я вернулся в общежитие, мне объяснили, что на соседней базе — эпидемия, и приехавшая вчера истребительная команда уничтожила всех домашних животных.

Перепечатывая этот рассказ, я вдруг ощутил некую неполноту, пустые места между пятью, а то и более мирами, сошедшими для меня в четырех маленьких пушистых точках. Попытаюсь ее заполнить. На базе, которая явилась отдаленным прототипом базы в изложенном выше тексте, кошки действительно водились, но среди солдат и офицеров (а, как известно, военные — весьма сентиментальный народ) не нашлось бы никого, кто допустил бы такую идиотскую расправу над животными. Кошки были любимцами полка, и вивисектора постигла бы не менее ужасная участь. Последний абзац — не более чем пересказ фрагмента одного моего сна. Этот сон настолько пророс в «реальность» (в кавычках, ибо я просто не нашел другого слова, сон для меня не менее «реальная» реальность) что, пробудившись, я пошел к своему приятелю, лейтенанту Дулатову, полковому доктору, выяснять, по чьему же приказу, зачем и кто убил кошек. Но на крыльце увидел всех четырех: и котят и кошку. Она лениво посмотрела на меня, а я, один из многочисленных и докучливых обитателей ее дома, прошагал мимо.

Домановка—СПб, 1987–1996 г.

НАСЕКОМЫЕ

— Пятница, четверг, так... да-а, уже неделю мандавошки покоя не дают, а теперь еще и голова чешется...

— Руки мой, когда дрочишь, ха-ха...

Этот кусок постороннего диалога, по-видимому долгого и нудного, где ленивые фразы бросают туда-сюда, лишь бы заполнить время, на несколько секунд прервал его воспоминания: захотелось почесать голову. «Проклятые вши, — подумал он, — вымыть бы, да». Однако затем снова закрыл глаза и увидел перед собой Генку по прозвищу Крокодил.

— А еще, — рассказывал Генка, — когда мы возле старого моста речку переходили, я задел ногами за провод, а провод потянулся, дерг-дерг, тут я гляжу... такое круглое выскакивает... Представляешь, детонатор от мины...

Они шли по свежевспаханному полю, за которым начинался похожий на болото лес. Раньше лес был везде, но на одной из высоток выстроили совхоз и постепенно начали распахивать окрестности. Трактора, несмотря на предварительную расчистку земли саперами, часто взрывались. Поэтому перед каждой машиной закрепляли круглый металлический барабан. За трактором, словно за королем, тянулась длинная свита: саперы, тщательно рассматривающие землю, втыкающие тут и там красные флажки, чуть поодаль — птицы, преимущественно чайки да вороны — живое черно-белое облако... Дети приходили позже, через день, два, когда трактор еле виднелся на горизонте или же из-за леса доносилось его тихое урчание. Они собирали патроны, порошины, всякие мелкие вещицы, пропущенные саперами и не успевшие спрятаться глубоко в землю. Однако интересней было копать самим: взяв лопаты и самодельные щупы, они уходили в еще нетронутый лес, выбирали места и ковырялись с утра до вечера. На высотах была песчаная почва, она легко копалась, но, к сожалению, (а может, и к счастью) почти все оружие, найденное ими, оказывалось ржавым и пригодным лишь для игр.

«С тех пор прошло много лет, осталось ли там что-нибудь?» — Он вздрогнул, словно какое-то насекомое проползло по спине между лопаток. Окружающий мир снова трогал его: щеку колола солома, голова продолжала зудеть... Пахло гнилой травой и мясными консервами, видимо ребята недавно открыли банку. Рядом разговаривали:

— Ха, я один раз так хотел, что через трусы вставил... она говорила, не сможешь, не сниму (лейтенант узнал голос рябого Кольки), а я то, что закрывает пизду, отдернул и вдул... Хотел очень...

— А она?

— Что она?! Ничего... я же потом еще раз... Да, я мог. У меня тогда еще спортсменка была...

Эти рассказы он слышал не первый раз. С теми или иными вариациями они повторялись изо дня в день, и никто не прерывал их — здесь лучше говорить, чем молчать. Лейтенант прижал шапку к голове — так меньше чесалось, пытаюсь согреться, свернулся в комок, и ему снова удалось вернуться к воспоминаниям.

— *Сидели на крыльце: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...*

Сидели на крыльце: Серега-Спичка, Огурец, Алка, Рыжая, Генка и он — очки-велосипед. Девочки говорили Генке: «Не надо, брось эти опыты...», а тот устанавливал в щель между досками детонатор, чтобы свернуть верхнюю часть. Вдруг резко хлопнуло. Генка отшатнулся, развел руки в стороны, как бы отталкивая небольшое облачко дыма, выросшее перед ним. Через секунду появились кровь и крик. Гена кричал, с ужасом разглядывая то, что еще недавно было ладонью: мизинец безжизненно болтался на клочке кожи. Кричал не он один. На шум прибежали соседи, принесли бинты, кого-то отравили за машиной.

— Эх, домой бы сейчас, — Колька полез наверх, и мелкий мусор посыпался на лейтенанта, возвращая его в реальность...

— А ты помнишь Инту, — отозвался Саблин, — долговязый такой, из второго... Тоже домой подался. Мне почтарь говорил. На пятый день взяли... Семь лет.

— Все же не вышка. А, может, все кончилось? Все домой пошли... А мы торчим здесь и не знаем... А, лейтенант?

— Пусть спит...

Все замолчали, но тишина не наступила. Где-то рядом капало, да и в окно проникали неясные, размытые пространством звуки. «Дыхание пустых полей», — подумал лейтенант и неожиданно вернулся в лес, где судили «предателя» Гошу.

Кого он предал, и за что судили, лейтенант вспомнить не мог. Огурец и Тетка привязали Гошу к дереву. Ребята зло смеялись, а Гоша кричал, пока ему не заткнули рот его же носками. «Задохнется...», — сказал кто-то, и кляп вынули. Гоша уже не кричал, а выл, вой разносился по лесу, где волки...

«Теперь в тех немногих сохранившихся зеленых островках прячутся собаки, скрестившиеся с волками. В отличие от волков, волкособаки не боятся людей. Лес тогда подкрадывался вплотную к домам, теперь, чтобы выбраться в лес, надо полчаса колесить по полям — совхоз съел его... теперь, — мысленно повторил лейтенант, — довоенное еще теперь... а теперь, там, наверное, и совхоза нет».

Команда — так они называли себя — в каждом районе была своя. Команда выбиралась по ночам на завалы — сваленные в одну кучу выкорчеванные деревья, камни, обезвреженные саперами железки. Ребята перемешивали снаряды и бревна, поджигали их, а затем отходили подальше или прятались в бетонных кольцах мелиорации, разбросанных по полю, ждали, когда грохнет. Поджигали обычно дальние завалы — ближние быстро разбирали на дрова взрослые.

Когда все разошлись, он и Рыжая тайно вернулись, чтобы отвязать Гошу. Тогда, освобождая несчастного «преступника», он ругал себя: «Слюнтяй, пожалел, нарушил закон команды!», а Рыжая, та всегда была добрая и жалостливая.

«Что с ней стало?» — Лейтенант поднялся, попытался размять затекшие ноги. Чесалось все — даже уши и нос. Он подошел к окну,

наполовину заваленному мешками с песком, и выглянул наружу. По небу плыли низкие облака, внизу блестела дорога. «Еще вода, не лед, значит — плюс, странно, плюс, а пар изо рта вовсю...»

— Видимо, сегодня никого не будет,— послышалось сзади, — по такой дороге и вездеход не пройдет. Умный командир давно бы наш пост снял. Скажи, лейтенант, на хуя мы здесь нужны?

— Отдыхай, Денек, и не спрашивай. Еще навоюешься... — он прислонился к стене.

«Славное прозвище у парня — Денек. Говоришь, отдыхать, Денек, хотя отдыхать-то может всего пять минут. Слух ласкает, словно день покоя впереди. Хотя какой тут покой — все на нервах. Ждут, ждут... Сколько дней... Интересно, после нас останется много железа?»

— Где же вертолеты? — он спросил одними губами, но Денек услышал и отозвался:

— А были вертолеты. Колька видел. Далеко-далеко, даже слышно не было. Леш, давай печь затопим.

— Раскроюсь, — ответил лейтенант и одновременно подумал: «Куда больше раскрываться, мы и без дыма видны со всех сторон». Затем он представил красное от гнева лицо майора Котова. «Нарушение маскировки, нарушение маскировки! — мысленно передразнил он майора, — под трибунал!» — понимаешь, Денек, свои же выебут...

— А Жора топит, видишь дым...

Но он уже не слушал. Вспоминал, как Рыжая взяла его за руку, отвела к деревьям, подальше от костра и, расстегнув кофточку, прижала его жесткие холодные ладони к своей груди: ну, мямля, ну... Он ничего не почувствовал, но, однако, поцеловал ее в губы, этот долгий поцелуй оживил руки, и....

— Лейтенант, ты как глухой, мы все уже околели, давай затопим...

— А, топи, отъябись только...

«Дай Бог так воевать. Убитых нет, и раненый всего один на группу — Смола. Запал в руках повертел... Как Генка... Он и похож на Генку Крокодила. Денек — на Спичку. А Саблин — на Огурца. Как звали Огурца? Лешка... Сашка... Огурец и все...». Огурец продал ему угнанный с трека мотоцикл. «Хорошая

была машина». — Он снова прижал шапку к зудящей голове. — «Вымыть бы...»

— Слышь, Денек, воду поставь подогреть...

Там он был младше всех, а здесь, пожалуй, чуть старше. «И приказывать научился... воду подогрей...» — Лейтенант добрался до стены, где находилось некое подобие нар и снова лег. Солома покалывала щеку, сквозь закрытые глаза проникал слабый свет. Он увидел блестящее на солнце озеро, а когда подошел ближе, под прозрачной пленкой, в зеленой траве — больших спокойных рыб. Чтобы не спугнуть, он присел на корточки, тихо добрался до самой кромки, и постепенно стало тепло-тепло.

НИЩИЕ

Они шли в город, скрытый за линией горизонта, шли на запад, на закат, словно пытаясь догнать уходящий день. Последняя деревня осталась позади, дорога тянулась среди сонных овсяных полей, и размеренные, неторопливые шаги двух путников не мешали ее полудреме. Дорогу и поля разделяла зеленая стена зарослей ольхи, ивы, а иногда — малины, чьи ягоды заставляли людей покидать наезженное тело тракта и надолго застревать в стене, оставляя после себя извилистые проходы.

Но на сей раз малина не интересовала путников. Они продолжали месить пыль, из-под которой местами выступали ряды пригнанных друг к другу камней — остатки мостовой, чешуя древнего чудовища, некогда выползшего из города и придавившего своим неповоротливым телом узкую тропинку.

Серые, покрытые пылью путники были менее заметны, чем их тени — темно-синие длинные рыбы, плывущие по неглубоким, полным теплого света колеям. Непомерно большой диск заходящего солнца слепил глаза, но стоило их прикрыть или опустить вниз, появлялось зеленое полукруглое пятно, загораживающее

именно то место, куда направлен взгляд. Впрочем, под ноги можно было и не смотреть.

Дорога вела прямо к солнцу, красному, как огонь очага, круглому, как большая лепешка, кусок которой уже исчез в темной пасти холма...

— Отец... — Младший сглотнул слюну. — Дай сухарь...

Тот, не останавливаясь, опустил руку в суму и вытащил оттуда бесформенный, похожий на камень, кусок хлеба.

— Грызи, пока зубы есть...

«Брат», «отец», «сын» — все странствующие нищие словно родственники. Откуда они начинают свой путь? Где их матери? Один Господь ведает, когда и где родились эти двое: их прошлые годы исчезли в дорожной пыли. Они жили вечно, или они никогда не жили, а появились на свет как часть дороги — две отслоившихся чешуйки ее толстой шкуры.

— Отец, — снова попросил младший, — передохнем...

У него болела нога. Почему-то все беды случались именно с правой ногой: не раз она налетала на камни, а совсем недавно в базарной давке ее переехала повозка. Боль приходила волнами, в такт с ударами сердца, но неожиданно он почувствовал, что, кроме этих волн, появилось иное движение, идущее от земли. Нога, за счет своей боли, стала третьим, очень чувствительным ухом: земля под ней слегка подрагивала.

— Что это? Слышишь...

Старик прислушался. Шелест листьев, шум деревьев за полями, пощелкивание, посвистывание — звуки настолько привычные, что их обычно и не замечаешь. Он прислонил ухо к земле. И явственно услышал глухой стук.

— Не знаю... Похоже, конный отряд.

Любой конный отряд нес опасность. Всадники могли просто не заметить нищих, смахнуть с дороги, словно капли пота, словно послеобеденные крошки, оставив измолотые подковами тела гнить в придорожных зарослях. Поэтому путники пересекли серую от пыли живую изгородь и легли в траву с другой, зеленой, обращенной к полям стороны.

Теперь младший уже всем телом чувствовал содрогание земли.

— Тяжелые кони, — прошептал старик, — ишь, как трясет.

— Это не стража...

Перед глазами молодого нищего мелькали темные точки: мошки, напуганные людьми, никак не могли успокоиться. «Мы прячемся в траву, а они, наоборот, поднимаются в небо. Небо для них, как для нас земля, самое безопасное место».

Всадникам предшествовала волна ветра. Подобно стае собак, она неслась по обочинам, проридралась сквозь узкие, похожие на лезвия ножей листья ивы, обнажала холодную серебряную изнанку взметнувшихся вверх малиновых и ольховых веток.

Наконец появились сами всадники. За мельчайшую долю мгновения пыль растворилась, и ветер стих — кони летели в абсолютно прозрачном воздухе. Даже трава и деревья стали полупрозрачными, стеклянными.

Ветки словно зацепили изображения всадников, те были уже далеко, может, в самом городе, но нищие продолжали отчетливо видеть каждого.

Впереди — белый, на белом, как свежий снег, коне, с большим луком и колчаном, усыпанным крупными жемчужинами, которые угадывались по отблескам, тоже белым, ослепительным.

Второй же — словно дитя заката, на огненном коне, выбивавшем копытами искры; багровый меч, похожий на язык пламени, сверкал в его руке.

И черным дымом был следующий всадник на вороном коне, всадник суровый и высокий, как ночное небо...

Преисполненный ужаса, молодой нищий закрыл глаза. Когда же он открыл их, то увидел четвертого. Это была бледная тень, большой клоч тумана, уплывающий во тьму.

— Смотри. — Он толкнул старика, глаза которого застыли, ничего не выражая, будто белесое видение оборвало и унесло его взгляд. — Последний-то... слуга что ли... отстает... да и конь его хромает...

— Молчи... Господи... — Старик сел и перекрестился. — Господи... Этот, последний, всех еще перегонит.

ИЗ ЦИКЛА «ОПИСАНИЯ ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

АРХЕОЛОГ

Разбили древний сосуд, и теперь мне приходится собирать черепки, отчищать их от земли и раскладывать, пытаюсь найти между ними соответствие. Сосуд был огромен, большинство черепков еще не найдено, но, мне кажется, я знаю места, где копать.

Часто приходится восстанавливать рисунок по едва уловимым деталям, часто я ошибаюсь, часто попадаются камни и «чужие» осколки.

Что находилось в сосуде? Что бы я делал, если бы сосуд был цел?

ГОЛУБИ

— Дядя Матвей, дядя Матвей, голуби!

Матвей отложил очки — стекла блеснули, отражая солнце, и два светлых пятна вспыхнули под ними на книге. Нехотя он встал и вышел во двор.

Действительно, на коньке крыши сидели две крупные, ослепительно белые птицы. Матвея тут же окружила толпа соседских детей...

— Они, наверное, ручные... — предположил он.

— Мы хлеб выносили, они не едят, — сказал кто-то.

В этот момент голуби одновременно поднялись в воздух, опустились до уровня приоткрытой Матвеем двери и залетели на веранду.

Матвей вошел следом и увидел, что голуби склеивают буквы с раскрытой страницы. Причем на том месте, где были слова, белеет неповрежденная бумага. «Под очками не достанут», — эта мысль застряла в мозгу Матвея, перекрыв всякое движение мысли.

Через некоторое время самообладание вернулось к нему. Но прогнать голубей криком Матвей почему-то не смог. Даже «кыш» не слетело с его языка. Он приблизился к столу, замахал на голубей руками и вдруг почувствовал, что с каждым взмахом сам поднимается в воздух. Задевая тапочками углы, Матвей сделал круг под потолком, затем, распахнув плечом дверь, вылетел во двор.

Он поднялся наверх, потом вернулся и, пока голуби доклеивали книгу, летал низко по саду, катая на спине соседских детей. Кое-кому удалось прокатиться даже несколько раз.

ГРЕБЦЫ

Дальше берег стал песчаным, но слишком крутым. Три одинокие сосны прилепились на самом верху, а за ними в несколько рядов стекало по склону и уходило под воду заграждение из колючей проволоки. «Зона, что ли?» — подумал Андрей. Взгляд его пробежал по границе песка и неба в поисках вышек. Вышка была, но одна, и на ней вместо часового стояла ржавая цистерна. «На зону не похоже... Воинская часть!»

Однако и эта догадка не подтвердилась. Когда течение вынесло лодку за поворот, он наконец понял: наверху, возле бараков, по всему берегу и даже в воде, стояли, копошились, лениво прохаживались грязно-серые свиньи.

— Оруэлл, — пробормотала Вика, сидящая позади него, — смотри, настоящий Оруэлл.

Некоторые животные провожали лодку ленивыми взглядами, а некоторые вовсе не замечали ее, для них она была несущественна, как отражение облака или листок, влекомый водой.

Следующий поворот был отчеркнут очередным забором из колючки, к которому прилегал гора опилок, успевших потерять под дождями свой желтый цвет. Лодку продолжало нести вдоль берега, ничем не отличающегося от того, на котором находился свинарник. Только вместо свиней теперь были бревна. Опиленные с двух сторон, усеянные сучками, они напоминали спящих животных. Какой-то человек в черной робе и высоких болотных сапогах возился около воды.

— Здравствуйте! — Негромкий, но четкий голос Андрея раскатился по каньону.

Человек не ответил. Он лишь посмотрел в сторону лодки. Взор его был пуст и равнодушен. Однако это не было равнодушием животного, это было равнодушие самой реки, несущей лодку, берега, уже уставшего играть с рекой и раскрывшего ладонь.

«Должно произойти...», — подумал Андрей, но что должно произойти, представить не мог.

— Не понимаешь, что ли, — зашептала Вика, — это же псих...

— Не подскажите, что это за деревня? — не обращая внимания на слова жены, спросил Андрей. Ответа не было. Человек их не видел.

Теперь берег опустился совсем низко — невысокие деревья, казалось, росли из реки.

— Подай куртку, холодно, — донесся сзади голос Вики.

— Может, пора на ночевку? — Андрей положил весло поперек лодки, вытащил из рюкзака штормовку и бросил жене.

Течение почти не чувствовалось. Капли воды падали с весла, заставляя облака и деревья, плывущие навстречу, извиваться в причудливом танце. Вдруг капли начали множиться и вскоре равномерно покрыли всю поверхность реки.

— Как угадала. — Андрей улыбнулся. — Дождь. Остановимся?

— Он скоро кончится... А рядом со свинарником я не хочу. Давай отъедем подальше. Достань юбку.

Он вытащил юбку — чехол, накрывающий байдарку от воды сверху, с дырками для гребцов — вещь просто необходимая для прохождения порогов, здесь же юбка не позволяла дождевой воде попадать внутрь лодки.

— Пойдем до ближайшего притока или родника. — Андрей снова взял весло. — Чтобы на чистой воде чай вскипятить...

Дождь, вопреки Викиным ожиданиям, усилился, превратившись в сплошную стену воды. Окончательно стемнело. Они повернули, надеясь причалить к берегу, затем повернули еще раз. Они гребли всю ночь, среди кипящей от капель воды, но не находили суши. Дождь перестал внезапно, словно чья-то незримая рука отдернула занавес, за которым берега просто не существуют — вокруг до самого горизонта простиралась вода.

ЛЮБОПЫТСТВО

За стеной сначала говорили спокойно — я не разбирал слов, но чувствовал, что в основном говорят двое, возможно, мужчина и женщина, остальные лишь иногда вмешиваются в разговор, превращая и без того неразборчивые реплики в ровный шум. Голоса постепенно усиливались, я начал различать отдельные слова. «Скребок, скребок» — повторил несколько раз низкий, (назовем его мужской) и, неожиданно сбитый высоким, пронзительным «Пятна!», забормотал нечто вроде «Я здесь, я ему, я здесь...» Затем включились остальные, я отчетливо услышал: «Хватит, он до сих пор лежит ухом к стене и нас подслушивает».

Как они догадались?

Шум за стеной опять стал неразборчивым. Я взял на кухне трехлитровую банку. Прислонил ее горлышком к стене (мне кто-то рассказывал, что так слышнее) и все услышал. Действительно все.

ВОЛХВЫ

Звезда висела над холмами, и дальше дорога была лишь одна — в небо. Всю ночь мы просидели на вершине, не проронив ни слова.

Мы ждали знака, но небо молчало, и молчала земля, и воздух был недвижим и холоден, словно мертвец. Когда же посветлело на востоке и розовое пламя охватило западную гряду, кто-то тихо выдохнул: «Это восход, светает...». Но в словах его не было радости, была лишь горечь, будто звезда обещала и обманула.

И тогда другой сказал: «Не так мы встречаем наш день. Чтобы он нам ни принес, я благословляю его».

Когда рассвело, мы разбрелись по склонам и искали везде: за камнями, в старом сухом русле, в неглубоких пещерках, однако не находили даже следов. Только похожие на крыс серые зверьки, только комья колючего кустарника в расщелинах да наши фигуры оживляли каменную пустыню. Звезда была видна даже днем, неподвижной белой точкой она висела над нами: небесное око, бесстрастно наблюдающее за поисками.

Вечером мы снова собрались на вершине одного из холмов и выложили свои находки: несколько полуистлевших тряпиц, пуговицу, кусок провода. Ни одна из них не была похожа на знак Его присутствия здесь. И кто-то сказал: «Вот прошел один день. Таких дней может быть много. У нас пока хватает пищи, но вода кончается, завтра мы будем искать воду». Ночью, несмотря на холод, многие спали. И с восходом мы все отправились к сухому руслу рыть колодец. Каменное дно отчаянно сопротивлялось, неприятный запах поднимался от земли, и мне вдруг показалось, что мы роем себе могилу.

БИБЛИОТЕКА

Она брала книги с полки и перед тем, как дать их мне, сильно встряхивала.

Тараканы, словно семечки, вылетали из-под страниц, падали на пол и тут же разбегались в разные стороны.

Мне казалось, осыпаются буквы.

Может, это и были буквы.

ХОЗЯИН РЕАЛЬНОСТИ

На этот раз он оказался в темноте, в лежащем положении. Очертания окружающих предметов перемешивались с тенями. Краем глаза Эдик видел горящую на столе свечку. Она мешала сосредоточиться.

— Фэсфэ, — сказал кто-то сбоку.

— Но меня так растащило, блин,— ответил другой голос. Эдик узнал его: Фрэнк из Донецка. И вспомнил: вчера он просился перенайтовать. «Значит, я в общежитии, в своей комнате. И просто вырубился ненадолго. Но кто же второй?»

Эдик встал. Комната в полутьме казалась чужой, хотя все предметы были знакомы и находились на привычных местах: шкаф без дверцы, на котором стоял старый сломанный магнитофон, тумбочки, стол, три железные кровати — на одной валялся ворох грязного тряпья, на другой лежал человек, небритый, опухший, с темными синяками под глазами, в наглухо застегнутой военной форме и рваных носках. Эдик включил свет и вспомнил: человека звали «Майор». Этот «Майор» никогда майором не был и даже в армии не служил, отмазавшись через дурдом. Фрэнк валялся рядом, на голом матрасе.

Эдик потащился в туалет. В унитазе лежали бинты в коричневых пятнах крови. «Сука, Майор, знает, что флэт засвечен, вот сука...» — выругался он про себя.

— Каким говном вы долбились? — спросил Эдик, вернувшись.

— Фэсфэ, — сказал Фрэнк.

Майор вместо ответа протянул руку, непомерно длинную, похожую на телескопическую антенну, и потрепал Эдика по щеке.

Позади что-то зашуршало. Эдик обернулся. Ком тряпья на соседней кровати оказался девицей, спавшей под лоскутным

одеялом. Теперь же она сидела и смотрела на Эдика. Изможденное лицо, бледно-синяя кожа, отвисшие груди.

— Эй, — сказала она, — меня не вмажешь?

«Чем?» — хотел спросить Эдик, но вдруг, словно его глаза сами строили все происходящее, на столе появилась машина, пластмассовая пчела, поблескивающая острым носиком шприца, и банка с каким-то раствором.

— Фэсфэ, — проговорила девица.

«Зачем долбиться, его можно просто пить. Или слизывать». Эдик тут же превратил шприц в промокашки, и одновременно с этим преобразилась вся комната — она стала одним из классов школы, где учился Эдик, а промокашки они жевали, чтобы скатать в комок и стрелять из трубочек этим мокрым комком. Счастье с промокашками исчезло в первом классе, со второго разрешили писать шариковыми ручками. «А сейчас в тетрадях промокашек нет. И перьевых ручек». Но девица не пропала. Она сидела в позе лотоса, абсолютно голая, с синяками от укулов на руках, с торчащими из-под кожи ребрами и складками там, где живот, с темным пятном волос на лобке.

«Столько дыр, что и мазать некуда», — подумал Эдик и ответил:

— Ляг и забудь!

— Мне холодно, — произнесла девица, — ложись рядом.

Эдик забрался под неприятно, сладковато пахнущее одеяло, не снимая ни пальто, ни сапог. Он невольно посмотрел вверх, на лампы: длинные, светящиеся сосиски, на мух, перелетающих с места на место. Их полет показался ему замедленным, словно мухи черными нитками опутывали свет.

«После мух остаются темные мелкие пятнышки», — подумал Эдик и перевел взгляд на лицо девицы. Оно было покрыто именно такими пятнышками. «Так она же мертва!» — Эдик дотронулся до нее: тело было холодным, как снег.

Эдик на мгновение закрыл глаза, превращая ее в снег, а лампы в полосы зимнего горизонта над далекой кромкой леса. Затем он поднялся, отряхнул с колен снежные комья и сделал первый шаг в сторону заходящего солнца.

МАСТЕРСКАЯ

Мама ведет меня за руку к старой каменной церкви, расположенной в глубине сада. Я знаю, что в этой церкви находится витражная мастерская, хотя внутри никогда не был. Накрапывает мелкий дождь, мы идем быстро, но по дороге мама умудряется рассказывать мне о витражах, о том, как варят стекла, как прокатывают свинцовую ленту, чтобы соединить осколки и получить прозрачную, светящуюся картину.

Двери мастерской незаперты, и вскоре мы оказываемся в просторном помещении с большими окнами. В центре свет подобен вертикальному, диаметром более десяти метров, стволу огромного дерева, рассыпающегося под куполом листвою полустертых фресок. Однако в углах центрального зала и в приделах царит полумрак, в котором проявляются, поблескивая металлическими частями, станки и неизвестные мне приспособления. Возле одного из станков горит электрическая лампа, и под ней работает невысокий коренастый человек. Он не замечает нас, звенит какими-то своими железками и напевает в такт звону — в пространстве бывшего храма его голос умножается и приходит к нам волной совершенно неземных звуков.

И тут, сделав два шага в сторону центра, я вижу сами витражи, их два, и они похожи друг на друга, на обоих — деревья и звери, но один разложен на полу, на белой бумаге, а другой — в раме, на специальной подставке. Рассеянный свет словно оживляет его, наполняя объемом пространство позади.

— Коля... — окликает художника мама, — Николай Сергеич...

Ее голос в гулком помещении храма становится необычно полным, прозрачным, как вода из дачного колодца, множеством бетонных колец уходящего в землю. Я вспоминаю, как мы с друзьями кричали в его темное нутро разные слова и слушали ответы.

Человек разворачивается и идет к световому кругу. У него была пепельная борода и седые всклокоченные волосы. Одет он как рабочий: в серую спецовку, из карманов которой торчат

разные инструменты, а на лбу двумя большими окружностями располагаются защитные очки.

— О! Какие гости! — Он слегка разводит в стороны руки, затем снова опускает их.

Пространство превращает его ответ в сплошное уханье. Филин в зоопарке ухал точно так же и выглядел так же. Теперь я про себя называю его Филином.

Я вижу их с мамой на краю светового круга. Она что-то говорит ему, он целует ее в щеку. Мне смешно — филин целует мою маму.

— Бу-бу-бу, — говорит мама.

— Бу-бу-бу. — Филин смотрит на меня.

— Бу-бу? бу-бу, — говорит мама и тоже смотрит на меня.

Я подхожу к ним.

— Митя, познакомься... это дядя Коля, мой одноклассник, — говорит мама.

Яжимаю его руку.. Она сухая, мягкая и напоминает конец птичьего крыла.

— Ты любишь рисовать? — спрашивает Филин и тут же, обращаясь к самому себе, добавляет: — А кто из детей не любит?

Я люблю. Филин отходит в сторону, к столу и, покопавшись в ящике, достает несколько карандашей.

— На, поработай, — сказал он, — или...

Теперь он лезет под стол. Вскоре перед моими глазами появляется коробка с осколками цветных стекол.

— Знаешь, что это такое?

— Стекло, — с трудом сдерживая восторг, я отвечаю тоном знатока, — для разных витражей.

— Вот, помоги-ка нам. Сложи из них что-нибудь... красивое. — Филин улыбается. — Будет твой собственный витраж.

И я остаюсь один перед белым листом ватмана, на котором предстоит сложить рисунок. А Филин и мама, продолжая свое «бу-бу-бу» отходят в сторону.

Вместо того чтобы рисовать картинку, а затем складывать — так мне объясняла мама, я рассыпаю стекла по бумаге. Они не-

ровные, в некоторых — трещины, красиво переливающиеся на свету. Я пытаюсь выкладывать узор из того, что есть.

Поначалу ничего не удастся. Но затем находятся два куска — синий и красный, которые настолько плотно прилегают друг к другу, что между ними практически не остается пустого пространства. Вывернув на пол все содержимое ящика, я по очереди примеряю все стекла. Вскоре нахожу желтое, которое столь же удачно подходит к первым двум. Из всей кучи еще удастся подобрать зеленое и фиолетовое. Образовавшаяся картина напоминает то ли кленовый лист, то ли человеческую ладонь. Она не требует никаких добавлений. Я отхожу в сторону, чтобы полюбоваться. «Надо посмотреть, как это будет выглядеть на просвет».

Я берусь за выступающий кончик синего стекла. И... поднимается весь рисунок. Все пять стекол срослись, и сквозь них я вижу силуэты мамы и Филина на фоне разноцветного неба, разноцветного дождя за окном.

КОШКИ

Я видела свет, подобный лунной дорожке, проходящей сквозь некое пустое пространство. Он не ослеплял и в отличие от света луны не прерывался рябью: края его плавно терялись во тьме. Походил он также на полосу света, падающего в темноту из полуприкрытой двери, только здесь луч выявлял не поверхность, а объем.

И я вдруг увидела, что к свету приближается стая кошек. Во тьме лишь угадывались их силуэты. Полные изящества, кошки напоминали маленьких пантер. И первая, вошедшая в световой поток, была бархатно-черна. Казалось, она могла впитать весь свет и при этом ничуть не изменила бы свою окраску. Ни на мгновение не останавливаясь, кошка несколькими плавными прыжками преодолела полосу и исчезла по другую сторону луча. За ней последовало целое радужное шествие. Кошки проходили эту необычную реку по двое, по трое, их окраска была

невообразима: от светло-зеленой до темно-красной. И все они исчезали с другой стороны потока. Видение завораживало: мир представший предо мной, был прост, но полон. И он был реальнее только что покинутого.

Кошачье шествие закончилось так же неожиданно, как и началось. Последней была ослепительно-белая, ее собственное яркое свечение отодвинуло поток далеко назад. Она, в отличие от других, остановилась посреди полосы, села и повернула морду в мою сторону. Это была единственная кошка, посмотревшая на меня. И что самое удивительное — глаз у кошки не было. На их месте зияли два отверстия, сквозных, темных, две дыры — как в самой кошке, так и в световом потоке, дыры — за которыми угадывалось бесконечное пространство.

И я не почувствовала ужаса, я просто открыла глаза.

ВИЗИТЕРЫ

Он не услышал, как открылась за спиной дверь, лишь почувствовал сквозняк, пробежавший по ногам. «Вот и они».

Еще вчера от одной мысли о них на него накатывала душная волна страха. Весь вечер он представлял, как они входят, почти бесшумно перемещаются по комнате, будто бы и не люди вовсе, а его собственные тени. И теперь, когда в его сознании они уже давно пришли и сделали все, что собирались сделать, он не боялся. Ведь всё это уже в прошлом.

Он продолжал сидеть, повернувшись спиной к двери, лицом к окну. Дверь изначально была незаперта, и ее мог открыть ветер, или зайти случайный прохожий, но он знал, что это именно они. Их выдавали не звуки, а отсутствие звуков: шарканья, покашливания, наконец, слов.

Он вытащил из пачки сигарету, его пальцы стали неспешно разминать ее тело, несколько крошек табака упало на стол. Те, кто вошел, еще не начали, они просто не могли начать, потому

что его время двигалось совершенно в иной плоскости. Сквозняк, словно кошка, но с колючей и холодной шерстью, терся у его ног, а он вертел в пальцах сигарету и смотрел в окно, где лужайка с высокой травой и старая ива, с ветки на ветку которой перепрыгивала птичка с оранжевой грудью. Она опускалась все ниже, до самой земли, затем запрыгнула на травинку. Птица была такой маленькой, что листик травы спокойно выдерживал ее вес.

ИМЯ БОГА

Билеты в Москву, которые мы (мы — это я и Миша) купили, оказались необычно дешевыми. Впрочем, я и просил в кассе самые дешевые. Лишь около поезда выяснилось, что он идет не в Москву, а в Пестово, и там следует пересесть (с нашими же билетами) на прямой до Москвы. Мы не стали ничего менять и уже утром были на Пестовском вокзале.

Желтые скамейки, грязные, засиженные мухами стены — зал ожидания ничем не отличался от своих собратьев в Бологом, Калининне или Окуловке. А поезд на Москву через два часа. От нечего делать мы принялись изучать большой застекленный стенд с расписанием местных электричек. Он, блестящий, в солидной медной раме, казался аристократом посреди прилепившихся на стены объявлений, правил и приказов.

И вдруг Миша, продолжая разглядывать время отправления и прибытия, расстегнул ширинку и начал мочиться на стену под стендом. Я попытался ему объяснить, что рядом туалет, и нет никакой необходимости делать это здесь, но он был предельно сосредоточен на своих действиях и никак не отреагировал на мои слова.

Чувство стыда выгнало меня в соседнее помещение. Я опустился на скамейку и попытался успокоиться. Но и сюда сквозь закрытую дверь отчетливо доносился шум падающей струи.

И на этот звук уже спешили два милиционера. Когда Мишу под руки провели мимо меня, мне стало стыдно вдвойне: было ясно, что надо его выручать. Однако сколько я ни старался, мое тело не могло сдвинуться с места. Невесть откуда вынырнул третий мент — судя по нашивкам на погонах — сержант. При его появлении невидимые оковы слетели, и я ринулся догонять процессию.

«Как теперь к нему обратиться: гражданин милиционер... Или товарищ? Лучше — товарищ... Товарищ сержант...». Пока это вертелось в моей голове, сержант успел подойти к открытой двери привокзальной кутузки.

— Товарищ милиционер,— закричал я еще издали, поражаясь тому, каким тонким и противным стал мой голос, — отпусти-те его, он за собой уберет...

— Разберемся, — отмахнулся сержант.

За дверью начиналась лестница. На верхней площадке, я увидел Мишу в окружении уже четырех милиционеров. Миша, в ермолке, с толстой книгой в руках, объяснял притихшим служителям порядка, как с помощью перестановки букв «алеф», «гей», «йод» и «вав» найти истинное имя Бога. И лектор, и слушатели не замечали ни меня, ни сержанта, прошедшего мимо...

Сержант же, поднявшись наверх, уже оттуда крикнул:

— Сейчас я принесу ведро спирта, тряпку и все сам уберу...

НЕОБЪЯСНИМАЯ ТОСКА

Необъяснимая тоска охватила меня.

Все легли лицом к земле, и только один бегал из угла в угол невидимой клетки, плотно сжав зубы, словно содержимое его головы могло вылиться через рот. Не было ветра. Трава стояла неподвижно, лишь иногда вздрагивала та или иная травинка: невидимые издали насекомые были причиной этой дрожи. Почему-то я подумал: слишком много обнаженной земли и ни

одного мотылька, а люди лежат, словно корни давно срубленных деревьев, покрытые разноцветным мхом, и только один, похожий на маятник, неистово ходит, отсчитывая мое время.

Милые вы мои, я ничем не смогу вам помочь, я даже не узнаю ваших имен, мне останется лишь мелочь — осколок стеклянной бутылки, успевший пронзить острыми углами дорогу, ослепительный осколок солнца, радужным пятном ползающий внутри моих закрытых глаз, ведь когда я открою глаза, вас уже не увижу.

ТОТ, КОГО ЖДУТ

Деревню окружали поля, весь пейзаж напоминал большое лоскутное одеяло, где пшеничные прямоугольники перемежались овсяными, гороховыми, клеверными, картофельными, а иногда даже льняными. Поля соединялись перелесками, лядинами, как называла их бабушка, но ему слышалось — лядинами, островки леса становились айсбергами, плывущими по огромным земляным волнам. Деревня находилась под одной из них, возле ручья, и включала два десятка домов, коровник и маленькую МТС. Ему нравилось там, все лето он пребывал в безмятежном, созвучном окружающей природе состоянии.

Однако на сей раз состояние было иным: тревожным, напряженным. С утра взрослые ждали кого-то страшного, о ком писали во всех газетах, рассказывали по радио и телевизору. Но никто не называл его по имени, не знал, когда он появится и откуда.

И мальчик первым увидел его. Человек спускался с холма медленно и уверенно, словно дорога была ему хорошо знакома. Мальчик, как ни старался, не мог разглядеть лицо, хотя все остальное видел хорошо: военную, цвета земли и травы, одежду, черные кожаные сапоги и даже тусклые медные пуговицы на френче. «Это тот, кого ждут!» — мальчик закричал, стягивая на крик весь поселок.

Несколько смельчаков с ружьями, заранее приготовленными и заряженными: у кого — пулей, у кого — картечью, уже стояли на дороге, вглядываясь в незнакомца.

Пыль поднималась от каждого его шага и оставалась висеть длинным шлейфом — полупрозрачной землей, вывороченной из борозды. Ветер совсем стих, заполнявший пространство стрекот кузнечиков тоже исчез. Только издалека, неизвестно с какой стороны, продолжал доноситься непрерывный рокот.

Когда путник поравнялся с невысоким желтым забором, недавно поставленным дедом Сажиним, мальчик увидел, что небо за его спиной темно-синее, почти черное. И всполохи далекой грозы сопровождает каждый шаг незнакомца.

— Уходи, сынок, — совсем рядом раздался хриплый голос. Мальчик сумел оторвать взгляд от идущего и обернулся. Позади, прислонившись плечом к бетонной опоре фонарного столба, стоял дядя Миша, и лицо его было белее этой опоры. Но ружье двумя близко посаженными, тяжелыми глазами ствола равнодушно смотрело на дорогу.

Мальчика начало трясти, словно молния, слетев с неба, заблудилась внутри. Страх подтолкнул его, заставил слепо бежать к дому, к спасительной калитке...

Дом был пуст — все уехали в город. Но и пустой дом мог спасти.

Мальчик захлопнул дверь, накинул крюк, сорвал со стены алюминиевый ковшик, сбросил крышку ведра в прихожей, зачерпнул и сделал несколько торопливых больших глотков.

И зловещая тишина вдруг рассыпалась на множество близких и далеких звуков. Вместе с холодом и болью в груди к нему вернулось все: жужжание мух на окне, высокий звон, оставшийся после падения крышки, рокот вплотную приблизившейся грозы.

Несколькими обжигающими горстями он смыл с себя остатки страха и в этот момент понял: «Все ошиблись... и он, и все взрослые ошиблись! Это обычный путник, а они его убьют!»

Волна ужаса приняла теперь иное обличье. Не вытирая лица, мальчик выскочил за дверь. Ноги не слушались — он бежал медленно, слишком медленно.

Ветер нес пыль над дорогой, коричневое облако уже поглотило соседний дом. Ослепительно-синяя ветка молнии повисла в небе. Когда мальчик выбежал на пустынную улицу, с неба упали первые капли.

ЛЕС

Я лежал на земле, в прозрачном сосновом бору, но холода не чувствовал. Деревья вокруг казались неподвижными коричневыми столбами, протянутыми от земли к небу. Облако комаров надо мной было таким плотным, что взгляд, проходя сквозь него, дробился на множество частей: все видимое пространство превращалось в причудливую мозаику, а ветка черничника перед моими глазами мелко дрожала. Я напряженно ждал какого-то очень важного знака, и комариное многоголосье не могло заглушить частых и сильных ударов сердца.

Неожиданно к этим звукам добавился далекий звон колокольчика. «Нет, не его я жду... Просто чья-нибудь корова забрела в лес... Что ей здесь нужно? Мох несъедобен... Грибы? Но для грибов еще рано». И тут я почувствовал, что последняя мысль встретила пришедшее откуда-то извне возражение. Оно не было облечено в слова, оно просто переместило мой взгляд на коричневый хвойный ковер под ближайшим деревом. Переплетение иголок охватывала белая живая паутина — грибница.

Еще несколько мгновений назад ее не было! словно она появилась специально, живое доказательство, что грибы здесь, рядом.

Звон колокольчика не приближался и не удалялся, он висел низко над землей справа от меня. И когда я встал, то и он поднялся вместе со мной на уровень моего уха. Я огляделся. Внешне ничего не менялось, но лес был полон незримого движения. Я вдруг подумал, что этот звук находится не вне, а внутри меня, в моей голове, в моих мыслях. И тут я увидел грибы. Коричневоголовые, человекоподобные боровики, желто-оранжевые лисички, похожие на уши горьку-

хи. Большие и маленькие, грибы окружали меня. И не требовалось никаких объяснений, почему они появились ранним летом и почему продолжает звенеть колокольчик.

СКУЛЬПТОР

Мы сидим возле водоема, где больше глины, чем воды: глубину определить невозможно — даже у самого берега солнце не способно пробиться сквозь коричневую кашу. Справа от нас — звенящее и стрекочущее кузнечиками поле, слева — канава, маленькое болото в зарослях аира и камыша, а по краю — розовоголовой валерианы. А позади — уходящая вдаль широкая полоса мертвой, потрескавшейся глины.

Я провожу указательным пальцем по твоей спине: на тонкой, едва тронутой загаром коже остается белый след: нервное дитя города, ты приехала сюда, как и я, лишь потому, что другого места мы не нашли.

Мы прыгаем в водоем, месим ногами вязкое дно, а затем снова сушим себя на солнце. Глиняная корка быстро подсыхает, отваливается черепками с отпечатками нашей кожи, вместе с нашим запахом, нашей грязью. И вдруг появляется некто, называющий себя скульптором.

Он собирает эти черепки, чтобы сложить мозаику наших тел, чтобы отлить наши тела из золота и серебра, железа и гипса, из красной, а не коричневой глины. А те места, где волосы, на голове и в паху, где вместо отпечатков лишь пыль, он собирается сделать по памяти. «Я знаю, как устроена женщина, как устроен мужчина», — бормочет он, ползая по берегу и складывая в холщовую суму светло-коричневые корочки.

Он говорит нам, что — скульптор, однако мне хорошо видны его тонкие, не привыкшие к тяжелой работе пальцы. У настоящих скульпторов совсем другие руки: глина требует физической силы. Как он может лепить такими пальцами?

Словно уловив мои мысли, «скульптор» поясняет: «Я лишь складываю осколки. Все остальное лепится само. Дайте мне разбитый кувшин, и я покажу». Он поднимает последний отпечаток и уходит. Потрескавшаяся глина под его босыми ногами становится гладкой и ровной. «Должно остаться хоть что-нибудь». — Я внимательно разглядываю то место, где еще недавно была трещина и вижу зеленые листочки травы.

КОПАЯ ЗЕМЛЮ

Я долго копал землю. Грядку за грядкой. Будущий огород находился на склоне: в нижних грядах земля была глинистой, влажной, и налипала на лопату, а несколькими метрами выше, под слоем дерна оказался песок — сначала желтый, потом белый. Я копал, нарезаю тоненькими квадратиками этот дерн и стряхивая на обнажившийся песок землю. «Окопы рыть легче, чем огород, — подумалось мне, — ведь самое трудное — снять верхний слой, насквозь пронизанный корнями травы, а дальше, вглубь, только песок». Я не перекопал еще и половины предполагаемого огорода, как почувствовал дикую усталость. Я лег на землю, закрыл глаза, и трава побежала, шурша стеблями по моему лицу: она наползала откуда-то сверху гусеницами огромного живого танка.

Я открыл глаза: надо мной было синее небо, белые облака и черная маленькая точка, медленно бегущая по полю зрения. Казалось, некий жучок отстал от неожиданно скрывшейся травяной массы. Он поднимался все выше и вскоре скрылся в облаках. Тогда я встал.

ДОМ

В этом доме каждый сквозняк напоминает о катастрофе. Она происходит незаметно, медленные перемены не охватить глаза-

ми, но мне снятся красные воды, идущие из глубин земли, черные воды, падающие с небес.

Сосед сначала хрипел, а затем вовсе потерял голос. Он подходит к моей двери по утрам и, пытаясь что-то сказать, тихо воет, бьет себя в грудь, но я не понимаю его. Я выношу бумагу и ручку, улыбка растягивает лицо соседа, он судорожно кивает, хватая ручку, пытается писать, но вместо слов получаются каракули. Его жена лежит в постели, насквозь пропитанной мочой. Даже в это зимнее время над ней целое облако мух. Мухи садятся на еду, и сосед, пытаясь отогнать их, часто роняет с табуретки стакан или миску.

Смерть ходит по нашим коридорам, бесконечным, темным, в которых теряются даже старожилы. Она, видимо, тоже заблудилась. Порой на нее наезжает какой-нибудь ребенок на велосипеде: он в испуге кричит, а она, заткнув уши и невнятно причитая, прячется за одним из углов. Часто Смерть теряет свою косу. Сосед пользуется этим: он точит, отчищает ржавчину и идет продавать находку садоводам на Сенной рынок или к Владимирскому собору. А потом возвращается пьяный и довольный. Но заходить в свою комнату он почему-то боится и засыпает на кухне возле своего стола. Тараканы без всякого страха ползают по нему.

На тараканов в нашей кухне уже никто не обращает внимания. Дети их сушат, затем делают ожерелья, кошки же — едят. Кошки едят их постоянно и в большом количестве, так что ни Муську, ни Маркиза кормить не надо.

Мышей я в квартире не видел. Обе кошки выходят на улицу через форточку, которую сердобольная тетка Надя открывает каждый вечер.

Через эту маленькую форточку квартира наполняется влажными сумерками. Мы выключаем свет и зажигаем газ. Наша кухня становится похожей на пещеру, в которой некое вымирающее племя переживает непогоду. Так, впрочем, оно и есть.

ВСАДНИК ПО ИМЕНИ ОЗЕС

Я помню небо, перемолотое челюстями гигантской лошади, чья неясная тень угадывалась над горизонтом, чья грива рассыпалась перистыми облаками... Мы следили за ней: три брата, стерегущие пустырь, мы шли по следам, отмятым в пористой глине, похожей на хлеб. Мы не спрашивали, зачем отец послал нас сторожить эти пустыри.

Я помню вагон-сторожку, и хлебное тело дороги, и пятно от красного вина на столе — темное по краям, светлое к середине — плоское облако, заснувшее в перекрестном небе клеенки, протертой локтями и пальцами до белизны, и маленькое окно, за которым — пустырь, где сторожу некого охранять, кроме себя самого.

Я помню, как скрип дверей разгонял кошек, превращающих любовные песни в плач ребенка, и свет фонаря умножался нашим оружием. «Кто здесь?! Кто здесь?!» — кричали мы, и эхо откликалось от соседних домов: «Озес! Озес!» И мы видели алмазные глаза лошади и всадника в глубине неба, и мы слышали, как шелестит млечный путь на его плечах. И если мы закрывали лицо руками — руки вспыхивали, становясь прозрачными, и если мы закрывали глаза — веки рассыпались, обнажая полускрытые черепами радужные шары.

А когда приходил гость, мы заваривали чай, и наша сторожка в ночи была подобна горстке чая, брошенной в стакан. И мы смотрели в лицо гостя как в собственное отражение — у него тоже не было век.

(Когда-то один из нас спросил: «Скажи, Бодхидхарма... Ты не закроешь глаза до тех пор, пока все не обрели свободу, пока не закончилась эта круговерть?» «Нет, я просто засыпал во время медитации, вот и обрезал веки...» — ответил гость.)

И мы размешивали ложечкой чайные листья, распутившиеся в кипятке. И наш вагон медленно ехал по старой колее через колдобины и мусор, по расширяющейся спирали, в центре ко-

торой пустырь, зажатый каменными многоэтажками, наш вагон ехал вслед за всадником по имени Озес.

ШАРЫ

Я шел по проспекту, с трудом продираясь сквозь пыльное тяжелое марево. Была уже середина дня и, несмотря на отсутствие солнечных лучей, жара ощущалась повсюду. Мельтешение людей и машин многократно усиливало ее, превращая широкий проспект в непроходимое болото.

И вдруг сверху на тротуар посыпались цветные шары: красный, желтый, синий, зеленый. Размер их не превышал размер человеческого кулака. Первые три, опустившись, беззвучно и бесследно исчезли. Они прошли дальше, вглубь, так, словно асфальт не имел никакой плотности. Зеленый же замер в полуметре от земли, а затем направился по воздуху в мою сторону. Он двигался против всех законов физики: перекатываясь над каменными ступенями, над припаркованными к тротуару машинами. Он медленно проплыл мимо меня — единственная истинная реальность. Все остальное по сравнению с ним казалось проекцией, тенью, он один имел настоящий объем и цвет.

Он уносил мой взгляд, мое тело, мои мысли. Я становился невесомым и свободным. Вдруг кто-то резко толкнул меня, я на мгновение отвлекся, а когда снова посмотрел в сторону шара, его уже не было.

ОСАДОЧНАЯ ПОРОДА

Он не хочет ее. И в его глазах нет огня желания. И нет сладкого яда в его словах. Но что же он хочет?

Он говорит, что хочет чаю. Поверю ему. И поверю ветру в его голове. И поверю ей. И поверю в мир вокруг них. И перестану смотреть на них. Потому что я — это он и она вместе. Потому что я — ничто. Я песок, я живу у воды, под водой. По мне прыгают зеленые лягушки. На мне босые следы пляжных людей. Все звуки пропадают во мне. Вода проходит сквозь меня, как я сквозь пальцы. Ибо я — песок. И маятник уже не качается. Я навсегда осевшее.

Осадочная порода.

Пляжные люди говорят, что я был камнем. Я был скалой. Я был крепостью. И видел смолу и огонь, смерть людей и животных. Я видел, как высох ров под моими ногами. Но теперь я лишь песок. И меня зачерпывают горстями и лепят кулички. Из меня строят замки, которые рассыпаются под ладонями. Но в солнечные сухие дни я умею шелестеть на ветру так тихо:

— Шшшшш... Шшшшш... Шшшшш...

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЛЕДОВ

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СЛЕДОВ

— Новая коллекция следов.

— Неплохое название для выставки.

— Собиратель или коллекционер следов отличается от следопыта. Для следопыта всякий след — лишь подручный материал для поиска оставившего этот след, а коллекционеру важен след сам по себе, как произведение искусства, повод для рефлексии, для построения совершенно отвлеченных конструкций, разговоров тех, кто пришел на эту выставку. Вот например, картинка при входе. «Зима». Каждый из нас может вспомнить нечто подобное. Образ предельно затертый, разве что конкретные предметы неповторимы: трещины на дверном косяке и эти кусты, сапоги... Она отсылает меня к моим собственным романтическим представлениям, глядя на нее можно рассказать историю о том, как некто поставил мокрые, в белых разводах, сапоги в прихожей, видишь, под ними на старом линолеуме две прозрачные лужицы, затем прошел босиком в комнату... Там ждала женщина, она поднялась навстречу, чтобы поцеловать, но сделать этого не смогла, его усы и борода обледенели, пока он пробирался через лес к ее дому. Дальше можно представить их ночь, красную и темно-синюю, они лежат рядом и смотрят на угли... И никто не хочет вылезать из-под одеяла, теплого и тяжелого, как снег на крыше над ними. А утром он ушел.

— Куда?

— Не знаю. На работу, наверное. В город.

— Лучше по другому: он вообще не уходил. Он всегда был с ней.

— Тогда откуда следы?

— Он не уходил, но выходил, скажем, к ручью за водой — туда и обратно.

— Но должны быть следы туда и обратно.

— Они и есть. Здесь люди ходят как лоси. Это удобно — наступать в старые следы, в уже промятые лунки.

— Не очень. Весной там скапливается вода.

— Возможно. Но весной, если нет снегопадов, образуется такой прочный наст, что можно ходить по снежной корке не проваливаясь.

КОЛЕЯ

(бумага, акварель)

— Или вот — следы в глине, следы на дороге из деревни в деревню, а по обе стороны от дороги — леса и болота. Она тянется неторопливо, над ней висят полосы тумана. Это отпечатки резиновых сапог — семья идет за ягодами или грибами, с ними собака, видишь, здесь она повернула в сторону и рванула в лес. Наверняка лаяла. А вот здесь уже вернулась и от хозяина не отстывает ни на шаг, идет, прижавшись к его ноге. Я просто вижу, как она поджала хвост от испуга — возможно, погналась за медведем, а когда увидела его или почуяла запах, вернулась. Редкие собаки не боятся запаха медведя.

— Почему ты думаешь, что это был медведь?

— Видишь, вырубка, без сомнения эта зелень на краю полотна — малина, а медведи... Они любят малину. Зачем лосю или кабану заходить в малинник?

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

(холст, масло)

— А вот и о медведях — видишь, надпись: рыбная ловля.

— Медведи также любят ловить рыбу в горных ручьях. Для этого нужны несколько условий. Неглубокая речка, по которой идет рыба, скажем, на нерест. Белая пена, голубая вода. Еще нужен лес, в котором водятся медведи. Зеленые склоны — небо можно не рисовать, оно лишь над головой. А возле реки, между камней, лохматые ветками останки упавшей ели. Тени от камней темно-синие, и сам медведь похож то ли на большую корягу, то ли на покрытый коричневым мхом камень. Он стоит неподвижно: все его внимание обращено на воду. В это время он ничего не видит и не слышит вокруг себя. Можно подойти к нему совсем близко. А если до него дотронуться или страшно закричать, у медведя может случиться разрыв сердца. Потому что вся его сущность уплывает по реке вниз, навстречу рыбам, которые идут наверх и несут ее к своей смерти.

В минуты ярости медведь встает на задние лапы и становится похожим на человека. Мертвый медведь, с которого охотники содрали шкуру, очень похож на мертвого человека. Впрочем, все мертвое друг на друга очень похоже.

МЕДВЕДИЦА

(холст, масло)

Теперь я понял, это весь зал посвящен медведям. Видишь, стоит и так презрительно смотрит. А медвежонок в стороне играет, возле пней. Это, судя по всему, сосновые пни, их оставляют на вырубке, чтобы через тридцать лет выкорчевать и добыть из них канифоль.

Мне Костик рассказывал про эту медведицу. Он ее на вырубке встретил, когда на этюды в Сортавалу ездил. Причем столкнулся нос к носу, вот как нарисовано. Ну все, думает, конец. Медведица-то с медвежонком. Он замер, не шевелится. А медведица вдруг как-то странно себя повела — не зарычала, не бросилась, а стала ветки обгрызать и плевать в сторону Костика. Так яростно... И, главное, далеко доплываает. Костик просто обалдел. А та все

ближе подходит и по-прежнему плюет. Понятно, чтобы нападала, но чтобы плевалась.

Представляешь, как Костик отреагировал. Совершенно глупо. Говорит, неосознанно получилось — взял и плюнул в ответ. И прямо на нос ей попал. Видишь, белое пятнышко.

А медведица после этого плевков Костиков с носу слизнула, презрительно на него посмотрела, затем повернулась к нему задом и стала трухой и листьями забрасывать. Словно собака, когда погадит. В общем, высшая степень презрения.

А после встала, отошла, медвежонка лапой под зад, и в лес. А Костик тоже постоял немного, штаны от ее плевков отряхнул и в другую сторону.

ОВСЯНЫЕ ПОЛЯ

(картон, темпера, гуашь)

Это очень простая картина — овсяные поля. Желтое и синее, разделенное зеленой пилой ельника. Видишь, белый квадратик — это автобусная остановка, бетонный навес, под ним — скамейка, татуированная нецензурными надписями. Трасса находится между полем и лесом, ее можно узнать лишь по облаку пыли, которое поднимается, когда проезжает машина. Но и эта картинка также связана с медведями.

Однажды сосед Костика, дядя Миша, с утра напившись молока с хлебом, шел через овсяное поле к автобусной остановке. И, проходя по тропике, так громко пустил газы, что вспугнул медведя, лакомившегося овсом. Тот от испуга рыкнул и рванул в сторону леса к шоссе.

Медвежий рык попал в унисон со звуком, который издал сосед. Тетки на автобусной остановке услышали, увидели медведя, бегущего к ним, точнее к лесу, и с испугу забрались на крышу остановки. Представляешь картину — подъезжает автобус, а они на будке сидят, куда и здоровому мужику не забраться.

Здесь следует уже читать не траектории следов, а язык звуков и запахов. А также созвучий имен и движений. Поэтому картина так лаконична.

ГЛУХОЕ БОЛОТО

(холст, масло)

На самом деле оно слышит и полно звуков, здесь речь не об этом. Оно проминается под ногами, и в лунки твоих следов заплывают щуки, а солнце скачет над маленькими полумертвыми соснами, заставляя их дрожать всем телом и танцевать, язык его — затопленный березняк, откуда бежит коричнево-красный ручей, а сердце — озеро с тряскими берегами, где лунки хлюпают как кровожадные рты. Там живут болотные люди. Они почти неотличимы от нас, разве что у болотного человека острый как нож взгляд, способный резать молоко тумана, и осторожная походка танцора — он привык к неверности земли под ногами. Кожа болотных женщин бледнее, чем кожа наших женщин, а поцелуи пахнут тинной. Этот запах легко перепутать с запахом моря. И если мы умеем становиться волками и медведями, то болотные люди становятся утками. Они переносят души наших умерших на восток. Летит цветной селезень, переливается крыльями, словно кусок радуги, и горе тому охотнику, кто убьет птицу, несущую душу.

ЗАПИСКИ НА ПЫЛЬНОМ ПОДОКОННИКЕ

(холст, масло)

— Довольно лаконично: окно, пустой подоконник, за окном лишь небо, судя по его цвету — весна, но окна еще не мыли, видишь, потеки на стекле, возможно, это комната, в которой долгое время никто не жил. Ты понимаешь, что написано на подоконни-

ке? Я — нет. Вечером, скорее всего, я бы прочитал, но сейчас, когда протертая пальцем по пыли надпись так сверкает в солнечных лучах, я не вижу ничего, кроме этого блеска. А вечер, увы, здесь никогда не наступит.

— Почему «увы»? Я например, вижу совсем другое. То, что было ранним утром, за несколько часов до этой картины. Старый дом, в одной из комнат возле окна стоит женщина, смотрит во двор, на окне всякая зимняя дрянь, потеки, на подоконнике ровный слой пыли. Женщина пишет нечто, не похожее на слова, некий орнамент, вырывающийся из подсознания, а ее взгляд устремлен в законное пространство, где во дворе ничего — только запорошенные снегом машины да пешеходная тропинка к подъезду напротив.

ДЫХАНИЕ

(картон, темпера)

Вот еще одно окно: круглое белое пятно на стекле — это тоже своего рода след. Кто-то стоял, плотно прислонившись к стеклу, и надышал. А прозрачное пятно посередине — след от носа.

— Знаешь, как смешно выглядит человек, плотно прислонившийся носом к стеклу с другой стороны. Нос превращается в пяточок.

— Но здесь маленькое пятно, он лишь слегка касался носом стекла, он просто стоял и смотрел на улицу.

— Или она.

— Неважно. Я думаю о контрасте с предыдущей картиной, там просто рисунок на подоконнике, а здесь — человек закрыл собственным дыханием законный пейзаж и теперь может снова открыть его для себя, прорисовывая пальцем на стекле...

— Мир будет уже другим.

— Здесь вопрос в том, что важнее — то слово, тот знак, который он или она напишет на стекле, или изменения мира по другую сторону окна.

В ЗИМНЕМ ТРАМВАЕ

(картон, темпера)

— Здесь он продолжает ту же тему. Я уверен, что это — заиндевшее окно трамвая, на котором пальцем шерстяной перчатки протерты лунки. Вполне понятная ассоциация — подледная рыбалка.

— На мормышку. Мне в детстве очень нравилось это слово.

— А ты видела мормышки?

— Конечно. У меня отец ловил. Такие блестящие, разноцветные, как игрушки для игрушечной елки.

— Мне эта картинка тоже напомнила детство. Мы протирали на заиндевевшем стекле такие лунки, затем дышали на них. Только дышать надо издали и легко, чтобы выдох оседал на стекло не густым белым узором, а тонким слоем, мелкими ледяными крупинками. Если смотреть сквозь такую лунку, все предметы обрастают радужным ореолом, а белое рассыпается на самые невообразимые цвета.

ПОВОД ДЛЯ ФАНТАЗИИ

(бумага, акварель)

— Дурацкое название. Еще назвал бы «Зимние фантазии». Эти точки что? Собачий кал?

— Вот видишь, ты уже начал фантазировать. Попробуй угадай, что вмерзло в старый снег.

— Да. Тут уж большой повод для фантазии. Белый снег, табула раса, пиши что хочешь. Знаешь, один мой знакомый после пяти литров пива смог написать на снегу мочой собственное имя, другой ночью протапывал на девственной поверхности сквера рисунок в виде многометрового сердца, а также имя своей возлюбленной, чтобы утром с высоты десятого этажа она увидела

это творение. Страсть его была столь велика, что снег таял под ногами, и в протаявших местах трава, обманутая теплом, начинала зеленеть, как газоны «канады грин» в рекламе по телевизору.

— А она?

— Беда в том, что она утром не посмотрела в окно и не увидела этого признания. А днем все снова занесло снегом.

СТАРИК

(картон, темпера, гуашь)

Знаешь, у него в мастерской добрый десяток таких стариков. На самом деле — расхожий штамп, засевший ему в голову. Скамейка менялась и трость тоже, в одной из картин он даже сменил ее на зонтик, но везде трудно определить, что рисует на земле этот старик. Типичный образ мудреца, доброго дяденьки, чуть ли не просветленного. На самом деле никто не знает, почему старик сидит на скамейке и водит по земле палкой. Сидит он так долго, что птицы не боятся, прыгают по носкам его ботинок, а иногда какой-нибудь воробей садится ему на плечо и теребит клювом кончики седых волос или край воротника.

ТРАССА

(картон, темпера, акварель)

— Смотри, именно эту картинку я искал полгода назад. Для сборника стихов. Только там пришлось бы убрать цвета.

— А здесь цвета — главное. Золотая пшеница, голубое небо и черная, разогретая солнцем, дорога. Золото на голубом, как некогда сказал БГ.

— Вполне в духе Костика. И весьма лаконично. Кстати, меня эта, с точки зрения многих, банальная картинка весьма цепляет. Она словно часть моей жизни. И здесь я вижу связь со стариком.

— Разумеется, дорога, пройденный путь...

— Нет, это другое, мои личные ассоциации. Бывает, стоишь на обочине и так же, как этот старик, выводишь палкой или носком ботинка в пыли некие знаки, некие круги, стрелки, мандалы, способные изменить пространство и вызвать из-за линии горизонта попутку. И приложенные волевые усилия оборачиваются вспышкой красных стоп-сигналов остановившегося автомобиля. Машина увозит тебя, но нарисованные тобой знаки продолжают работать, изменяя транспортные потоки целой страны. И продолжается все это до первого дождя, который смывает твои следы.

ТЕЛЕФОННЫЙ ОРНАМЕНТ

(бумага, сангина, соус)

— Он просто взял листочек из своей записной. Или собрал вместе все, что на этих листочках. У него в коридоре такая большая книга, вся изрисованная подобным. Только он рисункам, сделанным ручкой, придал объем и раскрасил. Он всегда таких смешных животных рисовал. Всякие химеры, голова одного, ноги другого, а то и просто, как здесь, — вместо ног — колесики.

— А я обычно рисую просто геометрический орнамент.

— А я лица...

— Эти рисунки, как мне кажется, работа подсознания. И прекрасный материал для психоанализа. Ведь они, как правило, не связаны с тем, о чем ты говоришь по телефону.

ЛАДОНЬ

(бумага, сангина, соус)

— Цифры, записанные на ладони, быстро стираются. Он попытался изобразить ладонь, на которой вдруг проступили все телефоны, когда-либо записанные им. Я почти уверен, это его собственная ладонь, ведь она правая, а Костик как раз левша, скорее всего, он держал руку перед собой и рисовал, вспоминая.

— Эта ладонь целиком состоит из имен и цифр: все линии, даже морщины образованы ими. Смотри, вот — линия любви, линия жизни...

— Да... Забавно. И совсем не в стиле Костика. Я помню, в одном из фильмов Гринуэя одна женщина писала на коже мужчин поэмы и письма.

— А я писала только на себе самой, на ладонях, когда сдавала экзамен по математике в школе. Ну еще телефоны, на запястье — там труднее стереть.

СЛЕДЫ, ОСТАВЛЕННЫЕ ЧАЕМ

(бумага, акварель)

— Как у Павича. Пейзаж, нарисованный чаем.

— Нет, здесь все по-другому, просто следы на столе, оставшиеся после ужина. Эта картина не несет в себе никакого намерения. Естественный пейзаж на клетчатой клеенке. Вот разводы от банки с вареньем, ее принес Костя, а это, может, отпечаток доньшка твоей собственной чашки. А следов иных, в том числе и вина (ведь мы тогда пили вино), нет, перед тем как пить чай и кофе хозяйка стерла все винные следы — остались только невинные. Вино же впиталось в тряпку, растворилось в воде, но не исчезло.

— Это типа старинного дзенского коана: куда исчезает ладонь, когда сжимаешь кулак.

— Да, заметь, кстати, что следы чая больше и бледнее следов кофе, а вино порой разливается совершенно непредсказуемыми пятнами: ведь чашки, как правило, ставят, а рюмки и бокалы опрокидывают. Водка же вообще не оставляет следов. Как и вода.

ПТИЦЫ

(холст, масло)

— Чего проще — голое поле, скорее всего, картофельное, с которого недавно собрали урожай. Видишь, золотая полоска леса на горизонте — значит, ранняя осень, время сбора картофеля, а птицы — как раз знак того, что поле недавно перепахали, и скрытые в земле черви да прочие насекомые пока еще не успели спрятаться. Перспективу здесь создают борозды, но истинный объем — птицы. Белые чайки и черные вороны. Два световых полюса: белая бумага — черный пепел. Белое можно разложить на все цвета — от синего неба до золотого леса, в черное же прячется любой цвет. Обрати внимание на мазки. Слово картина написана не кистью, а птичьими крыльями.

— Сейчас что вороны, что чайки подпускают совсем близко, они не боятся людей.

— Это уж точно. Они могут даже нападать на человека. У моих родителей во дворе жила сумасшедшая ворона. Нападала на каждого, кто выходил из дверей. Особенно на собак.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

(холст, масло)

Вот рисунок в коричневых тонах — железная дорога, слишком много ржавчины, охры, даже черные мазутные цистерны имеют

коричневый оттенок. Коричневый налет и на гранитном щебне, из которого сделана насыпь, и на серых бетонных шпалах.

Железнодорожные будки также выкрашены коричневой масляной краской, и только сам железнодорожник в ярко-оранжевом, словно огонь на путях.

А ты идешь пешком от станции до станции, идешь по одной из рельс, руки в стороны, ты идешь по сверкающему лучу, словно летишь... По шпалам идти труднее, они специально сделаны так, чтобы быть несоразмерными шагам человека, чтобы никто не ходил, ведь некоторые люди так увлечены разговором, что за шумом деревьев не слышат поезда.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ПОЕЗДА

(холст, масло)

Названа как один из первых фильмов — приближение поезда. Но здесь он приближается не к станции, он просто приближается. Все нарисовано так, словно мальчишка смотрит из кустов на пути, видишь, на зеркальной поверхности рельса, посреди полоски, отражающей голубое небо, некие предметы. Это не отражения птиц или самолетов, они имеют объем, скорее всего, это шурупы или гвозди, которые положили дети, чтобы, после того как поезд пройдет, подобрать расплюснутые колесами теплые железки, некогда имевшие, но потерявшие одно из своих измерений.

СЛЕД ЩУКИ

(холст, масло)

Следы рыб в воде с точки зрения физики сохраняются дольше чем следы птиц в небе, но след птицы сохранился как посто-

янный образ в восточной философии и поэзии, а о следах рыб говорили много меньше. Он назвал эту картину «След щуки», видишь, как все неподвижно, подводная трава, ровные зеленые линии, тянущиеся к поверхности, к нашему взгляду, и лишь в одном месте они изгибаются, словно некий стеклянный червь прополз и раздвинул лентообразные листья.

ЛАДОЖСКИЙ ЛЕД

(картон, темпера)

— Когда Костик был еще студентом и работал на панели...

— На пленэре?

— Нет, на панели. Мы рисовали портреты на улице, и это называлось — выйти на панель. А он тогда и портреты рисовал и картинки продавал. Возле Катькиного садика. Так вот, эти чайки еще с тех времен. Довольно частый мотив. Всякий, кто учился в Академии, поймет. Сколько пива было выпито нами у сфинксов.

— Интересно, что все чайки смотрят туда, откуда дрейфуют. Все смотрят назад.

— Они местные, а не дрейфующие чайки. А смотрят назад, думаю, потому, что всякая льдина, плывущая по течению, разглаживает за собой воду, и если спереди рябь мешает высматривать рыб, то сзади льдины сквозь разглаженную воду видно лучше.

ЗАБЫЛ НОСКИ

(картон, темпера, акварель)

— Это, что, про самоубийцу. Но зачем, если топишься, снимать носки?

— Нет здесь никакого самоубийства. Видишь, бутылка. Это про меня.

— Тебя послушать, здесь каждая картина про тебя.

— А чего ты хочешь? Мы вместе учились в школе. Потом вместе халтурили. Снимали одну мастерскую. Даже герлы у нас одно время были общие.

— Это как?

— Его девушки уходили ко мне, мои к нему.

— И чьи чаще?

— Не суть. Я о картине — это мои носки. Мы однажды купались, и я забыл носки.

— Вы купались в этом... льду?

— Ну да... Купались. Только ночью. Сначала мы зашли с Костиком к одной девушке, которая жила на Кораблестроителей.

— К твоей или к его.

— К ничьей. Просто девушке по имени Маша. Была весна, мы пили вермут, потом херес, еще какую-то дрянь, все это вдохновило нас на разные подвиги. Ха, самое смешное, я не помню, где была Машка. Помню, что мы вскоре оказались на улице, с ее полотенцем в руках и твердым намерением пересечь пустырь, гаражи, добраться до берега и искупаться. Дорога до реки была тяжелой: мы все время проваливались в какие-то ямы, потом попали в болото, где воды было выше колена, долго пересекали его, затем забор, гаражи... Но зато искупались с кайфом. Только в воде была какая-то мелкая дрянь типа пемзы, и под ногами большие плоские скользкие камни. Ночевали мы у Машки. Утром выяснилось, что полотенце хозяйки, шарф и мои носки остались на берегу. И когда мы пошли за ними, увидели цепочки наших вчерашних следов. Ночное болото оказалось канавой, единственной на всем, абсолютно сухом пустыре, причем мы ее пересекли не поперек, а вдоль — все сто метров. Забор, который мы с легкостью преодолели ночью, днем пришлось обойти. Плоские валуны оказались вот этими льдинами, а по воде по всей реке несло шугу — мелкую ледяную крошку.

ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА

(холст, масло)

— Когда думаешь о цветке папоротника, представляешь нечто подобное. Кому из нас не рассказывали сказки. Красный уголек в темно-зеленой лесной чаще. А листья перистые, похожие на крылья кукушки.

— С таким вот цветком у одного моего знакомого вышла довольно забавная история... Некоторое время он жил вместе с семьей на Петроградке, в мастерской, в нежилом фонде. Это был старый дом, который много лет шел на капремонт и все никак не мог дойти. И вот этот художник расписал в детской комнате одну стенку: сказочный лес в духе Руссо, в котором жили не только звери, но и гномы, и феи, и прочие волшебные существа. Не обошлось и без цветка папоротника. Потом дом наконец начали ремонтировать, а художник перебрался в другое место. И когда стали ломать внутренние стены, в стене, на которой он нарисовал цветок, рабочие нашли клад. Еще с дореволюционных времен.

ЖАЛЬНИК

(картон, темпера)

— У нас в Новгородской такие лесные островки посреди поля называются лединами.

— Откуда взялось это слово. От льдина?

— Может быть. Причем так называют и место, которое вокруг. Подосинова ледина, Стасова ледина.

— А это — жальник. Почему так называют, тоже не знаю. Может, от жалеть. Жальник, как правило, место поклонения. Например, древняя могила, родник. Или... Видишь, большое дерево.

Возможно, дуб... Если в нем есть дупло — то оно особенное. Исполняющее желание. Опускаешь в него что-нибудь ценное и загадываешь. Представь, лето, жара, и люди идут к этому дереву через звенящее кузнечиками поле, цепляя ногами семена ромашки, подорожника, клевера, рассыпая их на своем пути. А потом там, где они прошли, через несколько недель начинают проступать ромашковые, клеверные, подорожниковые следы. По этим цветам и находят такие жальники.

МАШИНИСТКА

(картон, гуашь, темпера)

Пальцы порхают над клавишами, а я не знаю, как пробраться среди этих слов, рассаженных тесно, еще молодых, не прополотых, не отобранных, в них не спрятаться крупному зверю, разве что птице втиснуться в какое-нибудь междусловье-пробел.

Все равно, как ни проходи, вытопчешь, семена разнесешь-рассыпешь, туда-сюда, бессмысленным жестом, лишними движениями, туда-сюда, слово и слово. А зачем, если все только трение тел?

Зачем? Я все еще верю, что среди всех этих слов — сто имен Бога, только надо уметь отбирать и не выкинуть лишнего, и не оставить деревья, и вечер, и песок на последнем ветру, и пух, и белые перья, летящие с неба.

ПОСВЯЩАЕТСЯ СИЛЬВИИ ПЛАТ

(картон, гуашь, темпера)

Сначала кажется, что сельская идиллия: семья поехала на дачу, правильные люди с правильной судьбой, вино для женщин, водка для мужчин, костер, шашлыки, дети бросают друг в

друга прошлогодними сосновыми шишками — весна, можно собирать желтые солнечные одуванчики или принести воды из ручья. Можно читать стихи к случаю, играть на гитаре туристские бодрые песни. Вечером они пойдут в дом, чтобы спать и улыбаться во сне. Утром их разбудит шмель, залетевший в окно. Но ты веришь этому? Я — нет. Что там, внизу, в овраге за кустами? Вино стало уксусом, пока мы подносили стаканы к губам. Мертвые насекомые лежат между окнами. И не о ней ли поет женщина на берегу: «Большая рыбка, маленькая рыбка, плыви по воде, верни мне мою дочку».

БЕЗ ПОДПИСИ

(холст, масло)

— Смотри, я не знаю, кто развешивал картины, но здесь работает некий принцип симметрии. На входе — зима, сельский дом. На выходе — такая же дверь, линолеум, как и там, но в городской квартире. Теперь здесь — ботинки, а там, помнишь, были сапоги. Но расположены относительно двери так же. И цвета другие, конечно, вся гамма другая.

— В городе все по-другому. Следы в лифте или следы на пороге, они не продавлены, а нанесены сверху. Это чаще всего грязная вода. Снег тает, образуя под ботинками две лужицы. Кошка подходит к ним, принюхивается и фыркает — ей что-то не нравится в этих лужицах на линолеуме, блестящих под лампой, как два глаза. Можно взять тряпку и вытереть. Весной следы несут с собой черноту — вытирать труднее. В начале зимы в основном песок, а весной какая-то липкая несмываемая грязь.

— Трудно стирать все следы. Трудно жить так, чтобы ничего не оставлять после себя.

— Этим он был и знаменит.

— Кто?

— Прототип персонажа этой картины.

— Но следы заметил Костик. И таким образом этот прототип наследил намного больше других. Художник заметил еле различимый полустертый отпечаток, выделил этот след, поместил в рамку и вывесил на всеобщее обозрение. А теперь мы умножаем следы с помощью слов. Тот, кто оставил след, — узник, а все мы — тюремщики.

— Ты так думаешь?

— Он появлялся незаметно, естественно, вместе с общим фоном, так что не мог вспомнить, был он вчера там-то и там-то или нет. Он существовал вне времени. А художник поймал его и остановил. А мы приковали его к этой картинке цепочкой слов.

МЕЛОЧИ

ДЫРЯВЫЙ ДЕНЬ

Был насквозь дырявый день, из которого вываливалось все: я постоянно попадал то на месяц, то на год назад, и эти абсолютно непредсказуемые дыры изменяли пейзаж: порой они казались просветами в облаках, порой — белыми конвертами чаек над полем, порой — одиноким ястребом... Я же ни на чем не мог остановить взгляд, зацепиться и вновь проваливался в воспоминания.

СНЫ 1

Мне давно ничего не снилось. Я даже забыл, когда последний раз летал во сне. Сны падают на меня тяжелыми шторами — за ними пустота. Абсолютно черное пространство, поглощающее любой звук, любой свет.

СНЫ 2

А она летает во сне. Но я ничего не могу поделать, она ускользает от меня, ибо наши сны лежат по разные стороны — мои во тьму, ее в свет.

ДОРОГА

За моим окном — дорога. Она соединяется с другой дорогой, другая с третьей и так далее... Но я не могу ступить на эту дорогу, так она обжигает. Горяча она или холодна — неизвестно. Но она — обжигает.

ИЗМЕНЫ

Я попробовал несколько измен: измена тела оказалась скучна, измена разума закончилась головной болью, измена души... Не бывает измены души, как и душевного предательства, есть лишь простая перемена ветра. Предают лишь тело, душу — отдают.

ПСАЛОМ

Облака заволочли мое небо, и оно потеряло свет: тени размыты даже посреди дня, и цветные бабочки кажутся клочьями пепла над бледной травой. Грибы выросли в саду, глиняной кашей стала дорога, и дни ползут ровные, как осенние поля. Боже, верни мне время, где печаль острее ножа, а радость ослепительнее солнца, Боже, пошли дождь, способный промыть мои глаза, Боже, лишь на тебя уповаю.

КАМНИ

Дети говорят, что на дороге стало гораздо меньше белых и прозрачных камней. «Кто их собрал, куда они делись?» — спрашивают меня. Я не знаю ответа.

ПТИЦЫ

Сидящую птицу с четырьмя крыльями легко нарисовать. Карандаш сам выводит... Когда же я пытаюсь изображать четырехкрылых птиц в полете, получаются звезды.

ЛЯГУШКИ

Оля рассказывает про аквариумных лягушек: «Однажды одна из них раздулась как маленькая бочка». Я было подумала — бедное животное отравилось чем-нибудь. Но вскоре все стало ясно — лягушка готовилась петь. И когда закончила свою арию — раздутость исчезла. Кстати, они не квакают, а поют как птицы...».

СЛЕПЕНЬ

«Я сделал большого слепня», — говорит Максим. Слепень, как выяснилось, от слова лепить — комок мокрого песка.

ЛОШАДЬ

Белая лошадь непрерывно кивает, словно соглашаясь со всем вокруг: и с облаком мух, повисшим над ней, и с назойливой мошкой, и с колючками чертополоха. Она перестает кивать, лишь когда дети кормят ее клевером, сорванным чуть ли не у самых копыт. И ответить может лишь благодарным кивком.

ЧАЙКИ

Чайки над свежевскопанной землей напоминают клочки бумаги, несомые ветром. Но вдруг они неподвижно повисают в воздухе, образуя концы равностороннего треугольника, посреди которого проявляется внимательный темный глаз.

ЛИЛИИ

Тигровые лилии в моем саду распускаются по одной в день: позавчера была одна, вчера две, сегодня — три... Тигр медленно крадется из зеленых зарослей Руссо, чтобы прыгнуть. И мой рассеянный взгляд — единственная его жертва.

ХОЛОДНЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА

Снег скапливается на ногтях и волосах — они самые холодные части тела. Они растут даже после смерти. Они менее всего зависят от нас и живут своей жизнью: волосы — трава, ногти — листья деревьев.

РЕГУЛИРОВЩИКИ

Светофоры выключили, поставили живых регулировщиков. Они свистят, подгоняя машины, а мне на моем велосипеде торопиться некуда. Я смотрю, как мент крутит палочкой, словно попутный ветер. Или стоит расставив руки — серое солнце в

фуражке, а висящий на руке полосатый жезл — обломок луча. Порой гаишник приказывает какой-либо машине остановиться, и тогда жезл превращается в фаллос. Полный энергии, он светится по ночам, заставляя содрогаться водителей. Для пешеходов же — ничего опасного. И девушки, переходящие дорогу, с интересом посматривают в сторону молодого регулировщика. Есть в нем что-то от тореадора...

СТРАХ ВЫСОТЫ

Воздух танцевал над теплой крышей, и мы осторожно подходили к краю. Чем ближе мы подходили, тем сильнее притягивала нас бездна. Поначалу она ставила перед собой на колени, и уже на четвереньках, мы подползали к не огороженному ничем водостоку.

Игрушечные машинки внизу, люди — точки.

Вскоре мы привыкали. Я полз обратно, к портфелю, за листком бумаги — сделать самолетик, Толян плевал вниз — на кого бог пошлет, а Сашка говорил:

— Что, мужики, поссать не слабо?

Не слабо. Они вставали на самый край, расстегивали штаны, и ветер нес их мочу над городом. Я не мог, ибо боялся и до сих пор боюсь высоты.

Ходил в горы, занимался промышленным альпинизмом, дробил свой страх на множество маленьких, конкретных страхов и поодиночке убивал их, но так и не смог добраться до корневища.

Лишь во сне — полеты без страха.

В ПЕРЕУЛКЕ

В переулке я сначала натыкаюсь на помойку, полную картонных коробок: пустая тара из коммерческих магазинов, выросших

на первых этажах и в подвалах, заполняется мусором жителей верхних этажей. Кругооборот вещей в природе.

МОИ СЛОВА

Мои слова малы и умещаются на кончике пальца, которым я вожу по заиндевавшему стеклу троллейбуса: такой привычный банальный жест, сцена из мелодрамы... Что я пишу... Ничего... Сначала рисую улыбающуюся рожу, затем — довольно мрачную, затем все это стираю, и за стеклом появляется Гостиный — «стены плача» уже нет, ремонт закончен, и белая колоннада мелькает в протертых мной окнах-иллюминаторах.

ПОЕЗД В АЛМА-АТУ: 1994

Караганда — слишком много черного даже в названии города, на темном угольном фоне рельсы кажутся светящимися... Это можно увидеть из окна поезда, вдохнуть вместе с глотком горячего и тяжелого воздуха.

За Карагандой мои попутчики рассыпятся веером — кто в Каратау, кто в Джамбул, а я в Алма-Ату. Окна в вагоне — самозакрывающиеся и их подпирают бутылками, наше — водочной: большой стеклянный зуб полуоткрытого рта. Моя голова была бы подобна языку, однако она наружу не проходит, не хватает нескольких сантиметров. Зато ветер входит и выходит свободно, словно не замечая воздуха, который следовало бы выдуть наружу, — воздуха, пронизанного тысячами мушиных полетов, насквозь пропитанного бесконечными разговорами.

Мои соседи говорят о нововведенных в Азии деньгах. Полчас уходит на пересчет взаимных курсов и разглядывание физио-

номий на цветных купюрах. Картинки на рублях никого не интересуют — привыкли все.

ЦВЕТЫ

Мы разносим по земле цветы, сами порой о том не подозревая. Одуванчики и ромашки выдают спрятавшиеся в траве тропинки.

НОЧЬЮ

Я разучился считать: вдруг обнаруживаю, что на твоей руке — семь пальцев. Я пытаюсь представить семипалую руку и замечаю, что и на моих руках по семь пальцев. Но рук по прежнему две. Это успокаивает.

БЕЛАЯ РЕКА

Если все время идти вдоль берега моря, обязательно наткнешься на реку, а если подниматься вверх по течению, река будет становиться все уже и уже, пока не упрется в болото, подземный ключ или ледник. Впрочем, я знал реки, которые начинаются в горах и кончаются в пустыне, в последнем оазисе, куда прибегают грязным ручьем, чтобы оросить два-три поля. Как они прозрачны наверху, как они широки и мутны в среднем течении и как больны и слабы в конце своего пути! И почти всегда вдоль их берегов — деревья и люди. Есть еще где-то на Востоке чудесная Белая Река, не обозначенная ни на одной из карт. Нет

ее описания ни в книге Аджа иб Ад Дуниа, ни в современных географических энциклопедиях...

* * *

Говорят, что если долго смотреть на один и тот же пейзаж, он входит под кожу, а после смерти выплывает вместе с душой и вылепляется в облаках... Вот мы лежим на траве глазами к небу и называем облака: «Это — дракон, это — медведь, это — дом, смотри — это дерево возле колодца, это птица, а это, смотри, да это же человек идет по дороге в гору, смотри...».

* * *

Порой ощущаю себя внутри лодки, плывущей сквозь сумерки, где только подводная жизнь. Если выбраться на поверхность, скажем, на крышу, можно почувствовать ветер, передвигающий город, можно увидеть, как колышутся несомые невидимым течением дома, и узнать, как непрочна земля под ногами.

СОДЕРЖАНИЕ

Из цикла «Песочница»	3
Что говорит небо	41
Из цикла «Рассказы без конца»	85
Пять времен года	130
Из цикла «Рисунки на стекле»	151
Из цикла «Описания другой реальности»	181
Новая коллекция следов	203
Мелочи	221

Литературно-художественное издание

Дмитрий Анатольевич Григорьев

Все цвета жизни

Корректурa Д. Суховой

Верстка Е. Касьяновой

ООО «Свое издательство»
199004, Санкт-Петербург, ул. Репина, 41
Тел.: 8(812) 966-1691
Интернет: <http://isvoe.ru>
E-mail: editor@isvoe.ru

Подписано в печать: 13.06.2012
Гарнитура Mypriad Pro. Печать цифровая.
Формат 60×84 1/16